

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

П. Н. БЕРКОВ

**Александр Иванович
КУПРИН**

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1956

П. Н. Берков • Александр Иванович Куприн

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

П. Н. БЕРКОВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН

КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва • 1956 Ленинград

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

В. А. ДЕСНИЦКИЙ

ОТ АВТОРА

Статистические данные Всесоюзной Книжной палаты, представляющие один из наиболее объективных показателей популярности того или иного писателя у советских читателей, свидетельствуют о том, что за годы советской власти произведения А. И. Куприна были изданы 175 раз на 23 языках общим тиражом в 7 764 000 экземпляров.¹ Один только рассказ «Белый пудель» выдержал 45 изданий на 18 языках (2163 тыс. экз.), а роман «Поединок» был напечатан 7 раз.

По данным массовых библиотек, Куприн является одним из наиболее читаемых дореволюционных русских писателей.

Однако, не считая нескольких статей, мы не располагаем ни одной хоть сколько-нибудь подробной книгой — обзором жизни и творчества Куприна. Очень мало опубликовано до сих пор его писем; воспоминаний о нем в печати почти нет. Есть, правда, в дореволюционных газетах множество интервью, давать которые Куприну в годы его славы приходилось довольно часто, но, за исключением записей Вас. Регинина, не всегда можно доверять этим источникам: сообщаемые в них факты, приписываемые Куприну суждения и оценки литературных и общественных явлений вызывали иногда с его стороны возражения в печати; бесцеремонное отношение репортеров к подлинным высказываниям Куприна послужило даже материалом для его сатирического рассказа «Интервью».

¹ По данным на 1 октября 1954 г. — За сообщение этих данных приношу благодарность Дирекции Всесоюзной Книжной палаты.

В советском литературоведении давно уж установилось мнение, что роль Куприна в истории русской литературы XX в. очень значительна. Это был писатель с сильным реалистическим талантом, органически чуждым декадентству и мистике, писатель, достигший высоких ступеней мастерства, выработавший богатый, точный и гармоничный литературный язык. При всех своих ошибках и противоречиях Куприн занимал в первые десятилетия XX в. одно из ведущих мест в прогрессивной русской литературе. Поэтому давно уже ощущается необходимость в создании опыта монографического очерка его жизни и творчества. Ответить на эту потребность — цель настоящей книги.

При изложении биографии Куприна автор стремился, по возможности, текстуально приводить документальные данные, не прибегая к их пересказу.

Ссылки на произведения А. И. Куприна делаются в основном по изданию А. Ф. Маркса (тт. I—IX), не под строкой, а в тексте книги: римская цифра означает том, арабская — страницу.

Отмечу, что, как явствует из воспоминаний И. А. Бунина, Куприн произносил свою фамилию с ударением на «и» и сердился, когда его называли Куприн.

Выражаю благодарность И. Е. Лукашевичу, оказывавшему мне помощь в работе.

Глава первая

ДЕТСТВО. — ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. — ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ. — ПОЛКОВАЯ СЛУЖБА

«Родился я 26 августа 1870 г. Пензенской губ. в городе Наровчат, о котором до сих пор есть поговорка: „Наровчат — одни колышки торчат“, потому что он аккурратно выгорает через каждые два года в третий до тла», — так писал Александр Иванович Куприн в кратком автобиографическом письме собирателю автографов Э. П. Юргенсону 20 февраля 1913 г.¹

Отец будущего писателя, Иван Иванович Куприн, штаб-лекарский сын, был мелким чиновником, письмоводителем у мирового посредника. По сохранившимся преданиям, это был человек, не лишенный художественных способностей: он недурно играл на скрипке, рисовал масляными красками. Жена его, Любовь Алексеевна, происходила из когда-то богатого, значащегося в «Списке титулованным родам» (СПб., 1892) рода татарских князей Куланчаковых или Кулунчаковых, ведших свое родословие от «царей касимовских». Куприн знал о своих татарских предках и впоследствии в одном частном письме, рассказав о смешных претензиях какого-то остзейского барона на аристократичность, не без некоторого кокетства заметил: «Потомок Ланг Темира, я презираю эту чепуху». На самом же деле, к Тамерлану «касимовские цари» никакого отношения не имели.

Мать Куприна была женщиной незаурядной. Она отличалась, по словам сына, редкой наблюдательностью,

¹ Письмо находится в Гос. Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (шифр: Собр. П. Л. Вакселя, № 2309).

энергией и настойчивостью. В письме, отправленном писателем матери незадолго до ее смерти (1910), Куприн писал: «Ты мне теперь очень нужна. Не твой опыт, не твой ум, а твой инстинктивный вкус, которому я верю больше, чем всей теперешней критике».²

После смерти матери (ей было тогда за 70 лет) Куприн в беседе с одним газетным репортером дал ей такую характеристику: «Все политические и литературные движения России моя мать переживала, всегда становясь на сторону нового, молодого. Моя мать умерла современным человеком».³ Другому репортеру Куприн сообщал: «Расскажешь или прочтешь ей что-нибудь, она непременно выскажет свое мнение в метком, сильном, характерном слове. Откуда только брала она такие слова? Сколько раз я обкрадывал ее, вставляя в свои рассказы ее слова и выражения».⁴

А. И. Куприну, когда от холеры умер его отец, шел второй год. Оставшись вдовой, Л. А. Куприна переехала с двумя дочерьми и сыном в Москву, к себе на родину: она была «старинной, убежденной москвичкой» (VII, 153). Переезд этот относится к 1873—1874 г.; вскоре Л. А. Куприна с сыном поселяется в Московском вдовьем доме, описанном впоследствии Куприным в рассказе «Святая ложь».

Материальные трудности заставили Л. А. Куприну отдать единственного сына в семилетнем возрасте в Разумовский пансион (Александровское малолетнее сиротское училище).

Пребывание Куприна в Разумовском пансионе длилось не более трех лет; однако оно оставило в душе писателя тяжелый след. Всегда жизнерадостный и вообще не склонный к жалобам на судьбу, Куприн через всю жизнь пронес отвращение к учебным заведениям вроде Разумовского пансиона и к воспитательной системе, господствовавшей там. Вспоминая в рассказе

² Центр. Гос. Архив литературы и искусства, оп. № 1, ф. 240, ед. хр. 30.

³ «Без подписи». А. И. Куприн. (Беседа о смерти матери). — Петербургская газета, 1910, 19 июня, № 165.

⁴ А. П. У гроба Л. А. Куприной. — Русское слово, 1910, 17 июня, № 137.

«Беглецы» о разумовских «воспитках», как называли пансионеров этого закрытого учебного заведения, Куприн писал: «Все они были подготовлены плохо... Проведши лучшие годы под влиянием истеричных старых дев, они были с самого первоначала исковерканы». Об одной своей тогдашней воспитательнице Куприн писал в том же рассказе: «Среди остальных чудовищ в юбках, старых, тощих желтых дев с повязанными ушами, горлами и щеками, злых, крикливых, нервных, среди всех классных дам, которых у мальчиков и девочек в разных классах было до двадцати, — она одна на всю жизнь оставила у Нельгина сравнительно отрадное впечатление, но и она была не без упреков».

В 1880 г., несмотря на неважную подготовку, Куприн выдержал экзамен во вторую Московскую военную гимназию. Военные гимназии были учреждены в 1862—1863 гг. военным министром Д. А. Милютиним взамен дореформенных казарменных кадетских корпусов.

В начале царствования Александра III военные гимназии были признаны непригодными для подготовки будущих офицеров и в 1882 г., в период усиления реакции, были ликвидированы; на смену им были вновь созданы кадетские корпуса. Вторая Московская военная гимназия в годы обучения в ней Куприна превратилась во Второй московский кадетский корпус.

Пребывание в кадетском корпусе оказало сильное влияние на характер Куприна. Из «нежного», «впечатлительного», «на других мальчиков не похожего» (IV, 24) он превратился в одного из членов «бесшабашной мальчишеской республики», которая «закаляла их в физическом отношении и калечила в нравственном» (IV, 103). В повести «На переломе (Кадеты)» Куприн с суровой честностью и подкупающей искренностью изобразил эту «военную бурсу», мало чем уступавшую настоящей бурсе Помяловского. С особенной теплотой вспоминал Куприн в «Кадетах» преподавателя литературы: «Пил и другой учитель — русского языка — Михаил Иванович Труханов, — писал Куприн, — и пил, должно быть, преимущественно пиво, потому что при небольшом росте и узком сложении отличался чрезмерным животом. У него была рыжая борода, синие очки и сиплый голос. Однако с этим сиплым голосом он замечательно ху-

дожественно читал вслух Гоголя, Тургенева, Лермонтова и Пушкина. Самые отчаянные лентяи, заведомые лоботрясы слушали его чтение, как зачарованные, боясь пошевелинуться, боясь пропустить хоть одно слово. Какой удивительной красоты, какой глубины чувства достигал он своим простуженным, пропитым голосом. Ему одному обязан был впоследствии Буланин любовью к русской литературе» (IV, 107). В лице Труханова Куприн вывел преподавателя Цуханова.

В мрачной атмосфере военной гимназии и кадетского корпуса зародилась у Куприна, благодаря талантливому преподавателю, любовь к родной литературе. Это и понятно: уроки и чтения Цуханова переносили его маленьких слушателей из удушливой обстановки корпуса в светлый мир русской литературы, обаяние которой в подобных условиях становилось еще глубже, еще сильнее, еще неотразимее.

Впрочем, еще до встречи с Цухановым у юного Куприна были сильные литературные впечатления, несомненно оставившие след в его восприимчивой душе. В раннем детстве бабушка рассказывала ему историю Жанны д'Арк, очевидно считая, что полулегендарные повествования об исторической героине являются более подходящей духовной пищей для ребенка, чем сказки. Но и мир сказок не остался чужд маленькому Куприну: в шестилетнем возрасте он с упоением поглощал книги сказок. Может быть, эти детские и отроческие литературные впечатления и образовали первый пласт его мужественной, жизнерадостной и склонной к романтическому героизму художественной манеры.

И в пансионе, и в кадетском корпусе, и, наконец, в юнкерском училище, куда он поступил в сентябре 1888 г.,⁵ будущий писатель отличался «горячим» характером, часто и резко протестовал против школьных порядков и правил, нередко подвергался взысканиям и наказаниям. «Бунтарство стало характерной его чер-

⁵ Послужной список подпоручика А. И. Куприна, составленный в г. Проскурове во время службы в 46 Пехотном Днепровском полку 1893 г. марта 16 (Гос. Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Отд. рукописей, шифр: М. 7589). Этот список был подготовлен ко времени экзаменов Куприна в Академию Генерального Штаба.

той», — писал об этом периоде жизни Куприна один из его биографов.

Ко времени пребывания Куприна в кадетском корпусе относятся его стихотворные опыты. До нас дошли стихотворения Куприна, датированные 1883—1887 гг. Среди них, наряду с ученическими перепевами и подражаниями Полежаеву, Надсону и Минскому, встречаются более самостоятельные произведения, представляющие отклики юного поэта на современные политические события. Эти стихотворения свидетельствуют о том, что в кадетском корпусе, несмотря на строгий режим, Куприн имел в какой-то мере возможность следить за общественно-политической жизнью родины и что у него уже складывались в это время демократические взгляды. Такова, например, сатирическая «Ода Каткову» (1886), в которой 16-летний Куприн, еще плохо справляясь со стихотворным размером, писал:

Открыл нам глаза он: Мужики мол де звери,
Всюду должны быть закрыты им двери,
Их мол де «тысячи рыл!»...

Не менее сатирический характер имеет стихотворение «Недоразумение», написанное по поводу одного из путешествий Александра III.

Стихотворение «Сны», датированное 14 апреля 1887 г., было создано под явным впечатлением циркулировавших в обществе сведений о заседаниях особого присутствия Сената, разбиравшего дело А. И. Ульянова и товарищей, обвинявшихся в покушении на Александра III. 15 апреля суд вынес постановление о казни А. И. Ульянова и четырех его соучастников. Слухи о возможности казни А. И. Ульянова проникли, как видно, и в кадетский корпус.

В стихотворениях этих лет Куприн следует за демократическими поэтами-восьмидесятиниками, у которых, наряду с мотивами уныния и тоски, встречались и попытки изобразить борцов-революционеров. Таковы, с одной стороны, стихотворения Куприна «Слезы бесплодные, думы тяжелые», «Песнь скорби», с другой — «Боец» (1885), с характерным для поэтов этого десятилетия образом умирающего революционера, борца за «правду

святую», за «родину дорогую», передающего «братьям» знамя, которое он «высоко держал».⁶

Слабые и мало самостоятельные стихотворения Куприна 1883—1887 гг. все же имеют значение как документы, характеризующие формирование его общественно-политических взглядов и литературных интересов.

В 1889 г. Куприн познакомился с довольно известным тогда поэтом, Лиодором Ивановичем Пальминым, автором стихотворения «Requiem» («Не плачьте над трупами павших борцов»); через посредство Пальмина Куприну удалось напечатать одно свое произведение — «сюиту» «Последний дебют» в журнале «Русский сатирический листок», издававшемся в Москве Н. Н. Соедовым. Рассказ был напечатан в № 48 и подписан сокращенно: «А. К—рин».⁷ В этом очень слабом произведении рассказывается, как обольщенная режиссером трагическая актриса принимает на сцене яд и гибнет. Некоторые исследователи предполагают, что в рассказе Куприна отразилась история Е. П. Кадминой, прототипа героини «Клары Милнч» Тургенева, но эта гипотеза не подтверждена никакими доказательствами. Литературное выступление навлекло на молодого автора неприятности, он подвергся дисциплинарному взысканию: был посажен в карцер. Об этом эпизоде вспомнил Куприн в рассказе «Первенец» (1897), хотя там название журнала и произведения и время события несколько изменены, а имя поэта, оказавшего ему литературную протекцию, очень зашифровано: он назван Иван Лиодорыч Венков. В повести «Юнкера» этот эпизод изложен подробнее, и имя поэта приведено в более прозрачной форме — Диодор Иванович Миртов.

Рассказ, которым Куприн начал свой литературный путь в печати, был не первым его опытом в прозаическом жанре; по крайней мере, герой его повести «Поединок», Ромашов, в котором исследователи видят много биографических черт его создателя и который также занимается литературным творчеством, сочиняет повесть «Последний роковой дебют»: «Это была третья, сочиняемая

⁶ Ср. автореферат диссертации И. П. Карасевой «Русская демократическая поэзия 70-х, 80-х годов XIX в.» (Л., 1954).

⁷ В собрания сочинений не включался; перепечатан в журнале «Литературный современник» (1939, № 7—8, стр. 199—204).

Ромашовым повесть», — сообщает Куприн (II, 98). Да и в рассказе «Первенец» первый опыт писателя назван «Ранние слезы».

Неприятность, вызванная печатным выступлением, лишь приостановила, но не прекратила писательскую деятельность Куприна.

Пребыванием в юнкерском училище закончилось систематическое образование Куприна. Не очень большие знания вынес он из школы. Дальнейшая жизнь также не способствовала укреплению и расширению его научного кругозора. Поэтому впоследствии Куприн, чувствуя недостаточность своего образовательного багажа, нередко высказывал сожаление по этому поводу: «Никакой талант ничего не стоит без систематического образования», — писал он в своей автобиографии.⁸ В лекциях о русской литературе, прочитанных им в 1916 г. в Тбилиси, Куприн «говорил и о собственных произведениях, крупным недостатком которых, по его мнению, является отсутствие систематического образования у их автора».⁹

Обучение Куприна в военно-учебных заведениях пришлось на последние годы царствования Александра II и начало царствования Александра III, на пору «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции».¹⁰ Армии и в особенности офицерству в планах реакционного правительства отводилась роль беспощадно жестоких подавителей революционного движения, душителей малейших признаков общественного недовольства. Вдохновителями подобной политики правительства были журналисты М. Н. Катков, издатель «Московских ведомостей», князь В. П. Мещерский, издатель газеты «Гражданин», и А. С. Суворин, редактор-издатель газеты «Новое время». Во всех этих изданиях настойчиво проводилась мысль о том, что армия является опорой трона, религии и национальных интересов, что падо

⁸ Автобиография А. И. Куприна. — Огонек, 1913, № 20, стр. 11 (ненум.).

⁹ Тифлисский листок, 1916, 6 октября, № 223. Цит. по работе Э. М. Ротштейна «Материалы к биографии А. И. Куприна» в книге «Затерянные и несобранные произведения А. И. Куприна» (Пенза, 1950, стр. 322). В дальнейшем ссылки на этот источник будут делаться сокращенно: Ротштейн, стр. . . .

¹⁰ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 1, стр. 267.

воспитывать офицерские кадры в духе слепого, нерассуждающего повиновения начальству. Все эти реакционные начала прямолинейно и грубо проводились в преподавании и воспитании в кадетских корпусах и юнкерских училищах в 1880—1890-е годы. Неудивительно поэтому, что культурный уровень русского офицерства в последние десятилетия XIX и в начале XX в. был очень невысок. Тем более существенно, что у юного Куприна в подобной обстановке появились сатирические «Ода Каткову» и «Недоразумение» и стихотворение «Сны», осуждавшее казнь революционеров. Очевидно, во время отпусков и в каникулярные месяцы Куприн вращался в среде прогрессивно настроенных людей, общение с которыми в какой-то мере противодействовало удушающей обстановке монархического юнкерского училища.

К сожалению, именно эти годы жизни Куприна очень мало отразились в сохранившихся рукописных и печатных источниках.

В 1890 г. Куприн окончил юнкерское училище по первому разряду и был назначен в 46-й пехотный Днепровский полк, стоявший последовательно в Каменце-Подольском, Проскурове, Волочиске. В полку Куприн прослужил около четырех лет. Никаких сведений об этом периоде его жизни, кроме официального послужного списка, не сохранилось. Поэтому особый интерес приобретают те места в литературных произведениях Куприна более позднего времени, которые отмечены печатью автобиографичности. Вот как начинается, например, рассказ «Неизъяснимое» (1915):

«В то время ныне небезызвестный писатель Александров был наивным, веселым и проказливым подпоручиком...

«Подпоручик часто подвергался домашнему аресту то на двое, то на трое, то на пятеро суток с приставлением часового и без. А так как в маленьком юго-западном городишке не было своей гауптвахты, то в важных случаях молодого офицера отправляли в соседний губернский город, где, сдав свою шашку на хранение комендантскому управлению, он и отсиживал двадцать одне сутки, питаясь из жирного котла писарской команды.

«Проступки его были почти невинны. Однажды он въехал в ресторан, на второй этаж, верхом на чужой старой, одноглазой, бракованной лошади и, выпив у прилавка рюмку коньяку, благополучно, верхом же спустился вниз. Приключение это обошлось для него благополучно, но на улице собралась большая толпа, и вышел соблазн для чести мундира».¹¹

Далее рассказывается, как подпоручик Александров выпрыгнул в окно из находившегося во втором этаже танцевального зала офицерского собрания, чтобы принести брошенную «королевой бала» розу, и, — совсем как рыцарь Делорж из «Перчатки» Шиллера, — отказался от обещанной награды — поцелуя.

Однако Куприн был не только «наивным, веселым и проказливым подпоручиком». В годы своего офицерства он накопил множество впечатлений и наблюдений над жизнью военных, их семейств, над бытом провинциальных обывателей. Впоследствии эти материалы были использованы им в повестях и рассказах из офицерской и солдатской жизни; особенно подробно и правдиво был изображен Куприным полковой быт в повести «Поединок». Шестая глава этого произведения представляет сжатую характеристику заурядного пехотного полка последних десятилетий прошлого века, перед войной с Японией. В каждой строчке этой главы видно всестороннее, глубокое, серьезное знание жизненного уклада офицерства, его скучных и тяжелых будней, его тусклых, пьяных радостей, его бесперспективной, беспросветной жизни; видно умение художественно обобщать, типизировать накопленные материалы. В рассказах «Дознание», «Ночлег», «Свадьба», «Ночная смена», «Поход» и других Куприн рисовал отдельные эпизоды из хорошо изученной им полковой жизни, не включавшиеся в план «Поединка». Весь этот цикл произведений Куприна занял в русской литературе конца XIX и начала XX в. заметное место, по праву принеся их автору славу крупнейшего бытописателя русской армии.

В полку Куприн продолжал заниматься литературным творчеством. Возможно, что он печатался и после 1889 г., после «Последнего дебюта». Во всяком случае,

¹¹ Куприн. Собрание сочинений, IX. М., 1917, стр. 90—91.

произведения, написанные им в период пребывания на военной службе, значительно художественнее его стихов 1883—1887 гг. и его первого рассказа.

В первой половине 1893 г. Куприн через одну свою петербургскую знакомую отправил в пользовавшийся в то время большим авторитетом либерально-народнический журнал «Русское богатство» повесть «Впотьмах». Она была принята к печати и увидела свет в №№ 6 и 7 «Русского богатства» за 1893 г. Позже, в № 11, был опубликован рассказ «Лунной ночью», а в 1894 г., в № 8, — «Из отдаленного прошлого». В «Русском богатстве» Куприн продолжал печататься на протяжении почти десятилетия.

Впрочем, не все посылавшееся Куприным в редакцию «Русского богатства» попадало в печать. Так, из его недатированного письма к секретарю журнала А. И. Иванчину-Писареву, относящегося, повидимому, к 1893 г., явствует, что им был отправлен в «Русское богатство» рассказ «Идеал», в печати не появившийся.

Года через два по прибытии в полк Куприн сделал попытку изменить свое положение.

Подобно ряду персонажей своих военных рассказов, он поставил себе целью подготовиться к экзамену в Академии Генерального штаба. Для большинства армейских офицеров того периода Академия была единственным средством выбиться из засасывающей тины провинциальной полковой жизни с ее мелкими дразгами, интригами, пошлыми романами и постоянным бездельем.

Куприн достаточно основательно подготовился и в 1893 г. отправился в Петербург на экзамен. В дороге, при переправе паромом через реку, Куприн был свидетелем некорректного отношения полицейского пристава к какой-то молодой девушке. Куприн вступился за пострадавшую; по словам лиц, глухо упоминавших об этом эпизоде, сделал он это в несколько своеобразной форме — не то бросил пристава в воду, не то избил его. Во всяком случае, по распоряжению командующего войсками Киевского военного округа генерала Драгомирова, в подчинении которому находился 46 Днепровский полк, во время сдачи экзаменов Куприн был отозван назад в полк, и держать экзамен ему «как лицу политически

Неблагонадежному» было запрещено. После этого Куприн решил выйти в отставку. Предубежденное против него полковое начальство стало еще сильнее придираться к нему; однажды ему был сделан выговор в особенно резкой форме. Куприн подал прошение об отставке. Через некоторое время просьба его была удовлетворена. Военный период жизни Куприна закончился. Впрочем, во время империалистической войны 1914—1918 гг. Куприн снова служил в армии, но по состоянию здоровья недолго.

Первые три печатные произведения Куприна, относящиеся к периоду 1889—1893 гг., — «Последний дебют», «Впотьмах» и «Лунной ночью» — не имеют сколько-нибудь серьезного историко-литературного интереса. В каждом из них взят «необыкновенный», «захватывающий» сюжет — самоубийство или убийство; герои — тоже «необыкновенные», «загадочные»; психологизм начинающего автора — неглубокий, неубедительный. Впрочем, в рассказе «Лунной ночью», несмотря на то, что молодой писатель шел по проторенной дорожке, уже проступают черты некоторой самостоятельности его, в частности обращает на себя внимание ночной пейзаж, хотя и вызывающий в памяти аналогичные картины Тургенева и Чехова.

Глава вторая

ГОДЫ СКИТАЛЬЧЕСТВА. — КИЕВ

В начале 1894 г. отставной поручик А. И. Куприн, с тощим багажом и четырьмя рублями в кармане, покидает полк. «Я очутился, — писал он в автобиографии, — в совсем неизвестном мне городе, — это был Киев, — без денег, без родных, без знакомств, словом, в положении институтки-смолянки, которую ни с того, ни с сего завели бы ночью в дебри Олонецких лесов и оставили без одежды, пищи и компаса. Вдобавок, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний ни научных, ни житейских.

«С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги. Я понял с необыкновенною, но, к сожалению, печальною для меня ясностью, что для усвоения знаний существуют пределы возраста и что никакой талант ничего не стоит без систематического образования».¹

Успех его литературных выступлений 1889—1893 гг. натолкнул Куприна на мысль работать в качестве журналиста. В Киеве в то время издавалось несколько ежедневных и одна еженедельная газета. Оставшийся без средств (один из биографов сообщает, что у Куприна оказалось в первые же дни киевской жизни всего тринадцать копеек), Куприн начинает работать в газетах «Киевское слово» и «Киевлянин» в качестве репортера, получая по полторы-две копейки за строчку. Он пишет в самых разнообразных жанрах — от передовых статей

¹ Огонек, 1913, № 20.



А. И. КУПРИН
1893 г.

и «писем из Парижа от собственных корреспондентов» и до театральной, полицейской и судебной хроники, от фельетонов в стихах и в прозе до обзоров провинциальной печати. Пишет он и под своей фамилией и под самыми разнообразными псевдонимами. В это время Куприн писал с большой легкостью, позднее он вспоминал об этом с сожалением, находя, что быстрота работы мешала ему доводить мысль произведения до полной ясности.

К своей репортерской работе Куприн относился с увлечением и по-настоящему любил ее. В отличие от ряда своих современников, репортаж он рассматривал не как своего рода ремесло, а как вполне самостоятельную разновидность литературной деятельности. Много лет спустя, в 1918 г., Куприн прочел в петроградской школе журнализма лекцию «О репортерах и газете», в которой, по словам газетного отчета (текст лекции не известен), говорил следующее: «Публика еще продолжает думать, что репортер — газетный строчило либо происшественик. А рецензент, корреспондент, даже иногда беллетрист — разве они не такие же репортеры? Конечно, такие же. Разница чисто индивидуальная. Все они должны видеть все, знать все, уметь все и писать обо всем. Только один делает это вяло, а другой с увлечением, один ограничивается своей деревушкой — своим уголком в газете, а другой хочет объять весь мир. Разница в слоге, в богатстве языка, в манере писать, разница в любовном отношении к объекту своего писания».²

Сотрудничество Куприна в киевских газетах совпало с широким распространением и популярностью в те годы в русской литературе очерков «городских типов». Как раз в «Русском богатстве» этому жанру уделялось заметное место еще в конце 1880-х годов (Г. П. С а з о н о в. Провинциальные портреты. — 1887, II; С. Л а в р е н т ь е в. Типы петербургских бедняков. — 1887, XII) и до второй половины 1890-х годов (С. Е л е о н с к и й. Ярмарочные картины. — 1896, XII). В «Новом слове» (1894, XI) печатаются «Очерки жизни студентов в Петербурге» И. Подольского. В столичных и провинциальных газетах

² А—ъ. «Газетная пехота». — Вечернее слово, 1918, 15 апреля, № 20, стр. 2.

систематически публиковали очерки-фельетоны: Буква (И. Ф. Василевский) ведет в «Русских ведомостях» фельетон под заглавием «Петербургские наброски», а в «Новостях» — «Среди обывателей». В «Новом времени» печатаются фельетоны Old Gentleman'a (А. В. Амфитеатрова). Пользовавшийся особенным успехом в провинциальной печати тех лет В. М. Дорошевич издает отдельными книгами свои очерки-фельетоны «Папильотки» (М., 1893) и «Одесса, одесситы и одесситки» (Одесса, 1894; изд. 2-е, 1895).

Куприн отдает дань этому увлечению. В 1896 г. он выпускает отдельным изданием ряд своих газетных фельетонов («Киевские типы»). Сюда входят зарисовки студента-драгуна, «днепровского морехода», кандидатки в знаменитые певицы («Будущая Патти»), лжесвидетеля-профессионала, неизбежного в те годы «босняка» и т. д. В следующем году выходят его «Миниатюры».

Отличительной чертой этих очерков было то, что они представляли итог определенного наблюдения, изучения и обобщения конкретного материала; вместе с тем Куприн не впадал в модный в то время натурализм: «В предлагаемых очерках, — писал он в предисловии к «Киевским типам», — читатель не найдет ни одной фотографии, несмотря на то, что каждая черта тщательно срисована с натуры». Позднее М. Горький в письме к одному молодому автору, касаясь очерков Куприна, писал, что Куприн никогда не был «фотографом», потому что вносил в изображаемое им много «от себя».³

Однако, чтобы издать «Киевские типы» и «Миниатюры», Куприну надо было пройти длинный путь полуголодной, хотя и веселой работы газетчика. Впоследствии он с юмором вспоминал эти годы. Когда ему задан был вопрос, как платили ему тогда, Куприн ответил, что натурой, и пояснил: «Когда у издателя были объявления из башмачного магазина, вся редакция шеголяла в новой обуви и во всех комнатах пахло новой кожей. Потом объявления были шапочные. И в редакцию сотрудники приходили все в цилиндрах. Это еще

³ Письмо от 15 августа 1929 г. Институт мировой литературы имени Горького, Архив М. Горького, шифр: ПГ—рл 15-8-1. В дальнейшем ссылки на этот источник даются сокращенно: ИМЛИ, шифр:...

ничего. Но раз открыли кредит в кондитерском магазине, и это был мат. Голодные сотрудники стали обладателями пятирублевых тортов».⁴

Как ни беззаботен был в первые годы своей газетной деятельности Куприн, однако и ему надоела необеспеченность и непрочность положения провинциального журналиста. В 1895 г. он находится уже в Москве, в конторе предприимчивого инженера Тимоховича, широко рекламировавшего свои изобретения по осушке домов, по устройству вентиляции и клозетов. Но и здесь Куприн долго не удержался, и в следующем, 1896 г. он находится уже в Донецком бассейне на службе у «Русско-бельгийского акционерного общества» в качестве заведующего учетом столярной и кузнечной мастерской и разгрузки вагонов на сталелитейном и рельсопрокатном заводе ст. Волынцево. Завод этот был организован незадолго до поступления сюда Куприна, в 1895 г., но рос очень быстро. Позднее переименованный в Петровский завод, в начале XX в. по размерам производства он занимал «первое место во всем районе, лежащем между р. Луганью и верховьями рр. Ольховой <...> и Миуса». Здесь было «3 доменных печи, 2 бессемеровских, 1 мартеновская и 30 кузнечных горнов... На заводе занято свыше 4 тысяч рабочих».⁵

Пребывание, хотя и не особенно длительное, на заводе дало Куприну материал для первой крупной его повести «Молох», опубликованной в декабрьской книге «Русского богатства» 1896 г. Но когда эта повесть увидела свет, автора в Донбассе уже не было. Возможно, причиной его ухода было столкновение с дирекцией завода «из-за безобразной системы штрафов», которой она опутала рабочих (I, 327).

Какая-то непоседливость отличает этот период жизни Куприна: в конце 1896 г. он вновь появляется в Киеве, организует атлетическое общество и открывает от имени этого общества цирк. Здесь Куприн впервые знакомит публику с знаменитым с этих пор борцом Иваном Поддубным, позднее чемпионом мира. Цирк привлекает

⁴ П. Пильский. Критические статьи. О Леониде Андрееве и др. СПб., 1910, стр. 102.

⁵ В. П. Семенов-Тянь-Шанский (ред.). Россия, т. XIV. СПб., 1910, стр. 853.

Куприна: «Там человек, — рассказывал Куприн много позднее, — каков он есть на самом деле. Сильный, смелый, подымает тяжести, прыгает, скачет на лошади, в каждом движении его — пение и красота жизни».⁶ Интерес к цирку, сохранившийся у писателя на многие годы, знакомство с бытом и людьми арены внушило Куприну ряд его произведений с цирковой тематикой: «В цирке», «Allez!», «Клоун» и др.

Несмотря на то, что организации цирка Куприн отдался с жаром, особенного успеха это начинание не имело, и в 1897 г. Куприн служит управляющим имением в Ровенском уезде Волынской губернии, в хорошо знакомой ему по офицерским годам обстановке. Поэтическая «Олеся» выросла именно из впечатлений этого периода. Здесь же Куприн собирает материалы для других своих произведений, действие которых происходит на Волыни. Хотя прямой обязанностью Куприна как управляющего имением было разведение махорки-серебрянки, он, по снедавшему его любопытству, становится на время псаломщиком, изучает церковно-славянский язык, увлекается Библией. Эта новая причуда также быстро проходит, но через несколько лет она неожиданно дает свои литературные плоды, когда Куприн приступает к работе над повестью «Суламифь» и позднее, когда он пишет рассказы «Анафема» и «Запечатанные младенцы» (1913) и другие произведения.

Но управление имением в столь же малой мере удовлетворило Куприна, как и мимоходом изученное им в том же году зубоврачебное искусство, которым он занимается в 1898 г., перед тем как поступить в 1899 г. в г. Сумы в бродячую театральную труппу. Незадолго до этого Куприн был суфлером в какой-то украинской труппе. На провинциальных подмостках он провел около девяти месяцев — срок, достаточный для него, чтобы в подробностях изучить новую среду. В рассказах «Полубог», «Как я был актером» и «На покое» Куприн изобразил пошлость, ничтожество и невежественность провинциального актерского мирка с его бесконечными и непрекращающимися интригами, позерством и грубостью. Но,

⁶ «Без подписи». У А. И. Куприна. — Биржевые ведомости, 1913, 21 сентября, № 13764.

как всегда почти бывает у Куприна, и в актерской среде он видит не одни только отрицательные явления: молодая талантливая актриса Андросова, которая «играла так же просто, естественно и красиво, как поют птицы» (IV, 296), среди бездарных, бесстыдных актеров одна по-настоящему любит высокое искусство и служит ему без лишних фраз, без наигранных жестов и поз.

В провинциальной труппе Куприн не прижился и в 1900 г. уже работает землемером-таксатором в Зарайском уезде Рязанской губернии в качестве сотрудника лесоохранительного комитета; в промежутке между всеми этими разнообразными занятиями он был еще грузчиком арбузов, певцом, давал уроки детям («это было одно из самых приятных занятий, потому что мы с ними никогда не ссорились», — отметил Куприн в автобиографии) и пробовал постричься в монахи.

Наконец, в том же 1900 г. Куприн приезжает в Петербург, чтобы целиком отдаться литературному труду. Годы скитальчества кончились. Из своей калейдоскопически пестрой и прихотливо складывавшейся молодости Куприн выходит закаленным и упорным, способным к самому тяжкому труду, физическому и умственному. И, возможно, о себе самом говорит он в рассказе «Как я был актером», характеризую героя этого произведения, якобы своего приятеля, как «человека, прошедшего самую пеструю жизнь, бывавшего, что называется и на коне и под конем, но вовсе не утратившего под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа» (IV, 274).

Природная наблюдательность Куприна развилась в бесконечных скитаниях писателя по России, в бесчисленных встречах с людьми разных профессий, убеждений, склонностей. Из беспрестанных смен специальностей и местожительства Куприн вынес обилие ярких, разнообразных впечатлений, прочно запомнившихся портретов и пейзажей, оригинальных и, казалось бы, неправдоподобных случаев.

С полным правом сказал позднее Куприн в рассказе «Вечерний гость»: «Ведь нет ни одного ничтожного явления, которое не оставило бы во мне неизгладимого следа. Тихая ночная возня мыши под полом и смертная казнь, рождение ребенка и шуршание осеннего листа,

ураган на море и тиканье карманных часов, ласка любимой женщины и объявление о ваксе, — все, все, — и малое и большое, созннное мною и не созннное, — все притрогивается к моему мозгу, все чертит на нем непонятные знаки» (VI, 319).

В длительных скитаниях Куприна окрепла его глубокая любовь к жизни, к талантливому русскому народу, к богатой и разнообразной природе, которую он так глубоко чувствовал, впитывал и осязательно четко воспроизводил, к могучему русскому языку, мастером которого он все увереннее становился.

Но в годы своей молодости Куприн видел и многое, многое другое. Перед ним проходили вереницы украинцев, татар, евреев, поляков и людей других национальностей, он видел их политическое и юридическое бесправие, освященное суровыми законами царской России. Он видел тяжелое, униженное положение крестьян и рабочих, видел жестокую, отупляющую муштру армии, видел некультурное, грубое офицерство и темную, неразвитую солдатскую массу. Пристальное внимание молодого писателя привлекала неправомерность женщины в буржуазном обществе, приводившая ее к тому, что она одновременно становилась и жертвой этого общества и одним из его «бичей». Из своих скитаний Куприн и на личном опыте и по наблюдениям узнал особенности социального строя своей эпохи. Он видел, как изнывали и гибли под гнетом капитала рабочие и крестьяне, как растленный социально-политический уклад калечил души людей. Куприн все это знал и временами сильно и правдиво изображал отдельные черты этого строя, осуждая их как писатель-демократ, но не борясь с ними, как боролся бы революционер.

И в этом как раз и заключается отличие Куприна 90-х годов от Горького, уже тогда выступавшего в качестве последовательного борца за народные интересы.

Тем не менее в период, когда начинали входить в моду декаденты, Куприн был писателем демократическим, прогрессивным. Читатели и критики тех лет воспринимали его в качестве честного писателя, обладающего светлым, гуманным взглядом на жизнь.

Репутация молодого Куприна была столь определена, что в октябре 1895 г. М. Горький, работавший

тогда в «Самарской газете» и внимательно следивший за провинциальной печатью, предложил пригласить Куприна в Самару для редактирования этой газеты.⁷ Вероятно, состоявшееся тогда же выступление Куприна на страницах «Самарской газеты» с рассказом «Конец сказки» было результатом приглашения М. Горького. Однако личного знакомства между ними еще не было.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что и во время своих скитаний Куприн продолжал сотрудничать в местных газетах (Киев, Житомир, Одесса, Новочеркасск, Ростов-на-Дону).

Газетная работа стала хорошей школой для Куприна, мастера очерка и короткого рассказа.

⁷ В. Г. Короленко. Письма, т. III. М., 1936, стр. 105 (подлинная рукопись Горького в ИМЛИ, шифр: ПГ—рл 20-8-7).

Глава третья

РАССКАЗЫ 1894—1900 гг. — ПОВЕСТЬ «МОЛОХ»

Напечатанный в № 8 «Русского богатства» за 1894 г. рассказ «Из отдаленного прошлого» открыл новую страницу в литературной деятельности Куприна: выдуманные «необыкновенные» герои его ранних произведений уступили место художественному обобщению реальных наблюдений, выдумка — жизненному, действительному материалу.

Рассказ «Из отдаленного прошлого» был так озаглавлен из опасения цензурных придирок, и не Куприным, а редакцией «Русского богатства»: сам Куприн назвал его «Экзекуция», а в дальнейшем печатал этот рассказ под заглавием «Дознание». В сжатых, даже скупых фразах изображается в этом произведении мертвящая, бесчеловечная атмосфера царской казармы конца XIX в. На фоне черствых, бессердечных служак-офицеров особенно привлекательным кажется подпоручик Козловский, сочувственно, человечно относящийся к провинившемуся солдату-татарину. В центре внимания писателя не татарин, хотя совершенно очевидно, что Куприн относится к нему с большой теплотой, а подпоручик Козловский. Переживания офицера, искренне желавшего помочь провинившемуся солдату и, вместо этого, явившегося виновником его наказания, переданы Куприным глубоко правдиво.

Реальные факты, жизненная правда подсказали Куприну одновременно и серьезную идею произведения, и выразительную, сильную своей краткостью и кажущейся безыскусственностью форму.

Рассказ «Из отдаленного прошлого» важен еще и тем, что образом подпоручика Козловского Куприн начал галерею портретов военных, которая спустя десять лет завершилась повестью «Поединок».

Однако наряду с таким достижением, как «Из отдаленного прошлого», Куприн в 1894 и в последующие годы в качестве газетного сотрудника пишет множество рассказов и очерков, значительно более слабых, как, например, «На разъезде», «Безумие», «Конец сказки», «Allez!» и др. Отдает он дань модному жанру неглубоких «легенд», подражая известному тогда «королю фельетона» В. Дорошевичу, прославившемуся своими «Легендами и сказками Востока» (ср. «легенду» Куприна «Альза» — позднее названную «Аль-Иссá» — и «легенду» Дорошевича «Истина», с совершенно одинаковой развязкой).

Гораздо большее значение имели очерки, написанные Куприным в это время; к числу их относятся «Рельсо-прокатный завод», «Юзовский завод», «В главной шахте», «В огне», «Киевское училище для слепых» и др.¹

Главная идея большинства этих очерков с горечью сформулирована Куприным в очерке «В огне»: «Надо отдать справедливость нам, русским, — мы очень мало знакомы с интересными местами нашего отечества». Сам Куприн как раз очень интересовался новыми явлениями в русской действительности и поэтому, как только представилась ему возможность, посетил промышленный район Донбасса, переживавшего тогда период быстрого роста и безудержной капиталистической хищнической эксплуатации. В очерке «Юзовский завод» Куприн дал ряд зарисовок внешнего вида завода и характеристик условий труда и оплаты рабочих, подробно остановился на описании работы в шахтах и как бы попутно, мимоходом, показал, какие фантастические барыши получали владельцы завода. Характерно, что молодой очеркист

¹ Очерки «Юзовский завод» (в отрывках) и «В огне» перепечатаны в «Забытых и несобранных произведениях» Куприна (1950), «В главной шахте» и «Училище для слепых» — в «Сочинениях» (т. VI, СПб., 1909). Об этих очерках см. автореферат К. Е. Павловской «Ранний Куприн» (Саратов, 1955) и статью Ф. И. Кулешова «Куприн-очеркист» в «Ученых записках Белорусского Государственного университета» (1954, вып. 18, стр. 117—133).

не прошел мимо важного вопроса об исканиях русской технической мысли и о неблагоприятных условиях для ее развития в царской России: собеседник Куприна, «грузный мужчина купеческого вида», рассказывая о том, как возник на английские деньги завод, прибавил: «Это ведь не то, что у нас... Взять теперь, вот, хоть бессемеровы котлы... У нас в России один мастер до них тогда еще додумался, когда англичанам они и не снились. И что же? Куда он ни лез, везде его на смех подымали с его системой. Так он и бросил эту музыку и спился с горя».²

Общее впечатление Куприна от Юзовского завода исключительно сильное. Для него Юзовский завод — «это какой-то ревущий, звенящий и пылающий хаос» (стр. 227), это «чудовищное громадное царство огня и железа, волшебный и в то же время страшный апофеоз человеческого ума, труда и знания» (стр. 222). Однако восхищение обстановкой, в которой совершается труд, не отвлекло писателя от главных деятелей процесса — рабочих. Он признается, что не мог «достаточно налюбоваться на ловкую и смелую работу мастеров. В то время как мы, — продолжает он, — закрывали лица руками, когда мимо нас проносились раскаленные рельсы, они в своих вязаных фуфайках, с руками, обнаженными наполовину, почти прикасались телом к пылающему металлу, дерзко поработавшая его стихийную силу» (стр. 233).

Цикл очерков о Юзовском заводе был написан Куприным одновременно с его первым крупным произведением — повестью «Молох»,³ обратившей на молодого автора внимание широких кругов читателей и критики.

«Молох» Куприна явился новым этапом в литературной разработке не новой уже к тому времени темы — темы влияния капитализма на русскую действительность.

Быстрое развитие капитализма в России, особенно с 70-х годов XIX в., выдвинуло перед тогдашними писа-

² А. И. Куприн. Затерянные и несобранные произведения, стр. 215. Дальнейшие ссылки делаются в тексте, указываются только страницы.

³ Распространившееся в последнее время произношение этого имени с ударением на первом от начала слоге противоречит библейской форме «Молóх».

телями ряд существенных проблем социального и политического характера. В литературе 70—80-х годов все чаще и чаще появляются образы промышленников, банкиров, крупных коммерсантов, «финансовых гениев», с одной стороны, и эксплуатируемой массы крестьян, ремесленников и рабочих, с другой.⁴ Для большинства тогдашних писателей, начавших свою литературную деятельность в 40—50-е годы XIX в., новые капиталистические отношения, определившиеся к середине 70-х годов, представлялись чем-то чудовищным и преступным. Наиболее яркое выражение подобное отношение к капитализму нашло в драме А. Ф. Писемского «Ваал» (1873).

Сравнения фабрики, завода с идолом, требующим человеческих жертвоприношений, с дьяволом, опутавшим людей своими цепкими щупальцами, были довольно часты в антикапиталистической литературе последней трети XIX в.

Назвав свое произведение именем идола аммонитян, мелкого семитического племени, не оставившего мировой культуре ничего, кроме имени кровожадного «Молоха», в раскаленную пасть которого бросались в жертву живые люди, в особенности дети, Куприн тем самым примкнул к существовавшей уже традиции. Так и поняла идею произведения критика, современная появлению повести. «Под молохом, — писал критик Р. И. Сементковский, — он «Куприн» подразумевает отчасти огромный завод, пожирающий и калечащий массу человеческих жизней, отчасти крупного дельца, орудующего всем этим заводом и при случае пожирающего невинных девушек».⁵

Однако для Куприна «молох» представлял более широкое и глубокое художественное обобщение: «молох» — это не только завод или крупный делец Квашнин, покупающий Нину Зиненко; это — капитализм в целом, капитализм, создающий завод, формирующий хищную

⁴ Богатейший библиографический материал по этому вопросу собран в статье А. Г. Фомина «Рабочий класс в русской литературе до Октябрьской революции» в «Сборнике статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова» (Л., 1934, стр. 497—506).

⁵ Р. И. Сементковский. Что нового в литературе. — Литературные приложения к «Ниве», 1897, № 2, стлб. 408.

психику всепожирающего Квашнина, нравственное уродство семейства Зиненко, грязную мораль Свежевского, готового из-за материальных выгод жениться на случайной любовнице своего хозяина; это — капитализм, калечащий здоровую человеческую личность, превращающий людей, подобных главному герою повести, инженеру Боброву, в неврастеников, в морфинистов.

Поставив своею целью показать «молох» капитализма и в значительной мере следуя за своими предшественниками в построении сюжета и в сосредоточении своего внимания на изображении Боброва, Куприн внес, однако, много нового в разработку «капиталистической темы». Повесть «Молох» была написана в середине 90-х годов XIX в., когда начались первые серьезные выступления рабочих на промышленных предприятиях, когда возникло такое явление в русской общественно-политической жизни, как рабочие бунты, эти предгрозовые вспышки, предвестники революции 1905 года. В повести Куприна впервые в русской литературе и были изображены эти важные исторические явления.

Заслуга Куприна как вдумчивого аналитика общественной жизни состояла в том, что в рабочих бунтах он увидел не случайное, преходящее явление, а новый и существенный фактор исторического развития. Известные ему отдельные выступления рабочих против нагло циничных форм безудержной эксплуатации на тех или иных заводах и фабриках Куприн обобщил, типизировал и представил как закономерное, логическое следствие капиталистического угнетения рабочей массы.

К сожалению, мы не можем представить себе замысел Куприна в полном виде, так как рукопись «Молоха» не сохранилась. Из дошедших до нас данных видно, что первоначально последняя глава повести подробно изображала бунт рабочих; однако по требованию Н. К. Михайловского, ведавшего художественным отделом «Русского богатства», Куприн, — очевидно, во избежание цензурных осложнений, — внес изменения в уже законченную повесть: «У меня есть черновая „Молоха“, и я по ней могу переделать 11-ю главу <...>, — писал Куприн Михайловскому, — о бунте ни слова. Он будет только чувствоваться». В следующем письме Михайловскому Куприн

сообщал: «Посылаю Вам XI главу „Молоха“. Я ее сильно переделал согласно Вашим указаниям».⁶

В последующих изданиях «Молоха» Куприн подверг текст повести правке, порою довольно основательной. Однако одиннадцатая глава, если не считать небольшой вставки, в которой дана краткая зарисовка бунтующих рабочих, осталась без существенных изменений.

Возможно, переделка одиннадцатой главы повлияла на общую композицию повести, но едва ли от этого пострадала основная идея произведения.

Заглавие повести — «Молох» — и внешняя сторона сюжета могли подать повод предположить, что капитализм и его конкретное воплощение, Квашнин, беспредельно могущественны, что они, подобно древнему идолу, безжалостно требуют себе в жертву тысячи человеческих жизней и ничто не может остановить или изменить этого хода вещей. Однако на самом деле это не так.

Хотя Куприн не изображает рабочих в качестве основных действующих лиц, хотя рабочая масса находится все время как бы на периферии повести, однако несомненно, что — сознательно или бессознательно — Куприн противопоставил кровожадному «молоху» рабочую сплоченность, пока еще, может быть, стихийную, но тем не менее представляющую большую и грозную силу.

На первых же страницах повести появляются рабочие, но не как отдельные, конкретные образы, а как безликая суммарная толпа: «Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике... Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда толпились рабочие, разгружавшие его... Тысячи людей, инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинаясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса...». Показывая рабочую массу через восприятие нервного Боброва, Куприн как-то особенно подчеркивает безликость и угнетенность этой массы: «Особенно раздражали его сегодня, когда он обходил рельсопрокатный цех,

⁶ Рукописный отдел ИРЛИ.

бледные, выпачканные углем и высушенные огнем лица рабочих. Глядя на их упорный труд в то время, когда их тела обжигал жар раскаленных железных масс, а из широких дверей дул пронзительный осенний ветер, он сам как будто бы испытывал часть их физических страданий» (I, 6—7).

Как Бобров, так и его приятель доктор Гольдберг смотрят на рабочих одинаково: они не отличают рабочих от крестьян; и для одного и для другого рабочие — это либо «масальские ребята», либо «степенные русаки — каменщики, все до одного в белых фартуках, почти все со льняными волосами и рыжими бородами» (I, 51), либо «терпеливый русский мужик»; оба они оценивают рабочих одинаково: «младенцы и герои в одно и то же время», — говорит доктор Гольдберг (I, 29); «Что-то стихийное, могучее и в то же время что-то детское и трогательное почудилось Боброву в этой общей молитве серой огромной массы» (I, 52).

Представляя себе рабочую массу в таких наивных формах, Бобров, естественно, не понимает и не может понять зарождавшегося рабочего движения. Присутствуя на молебне по случаю задува новой домны, Бобров смотрит на молящуюся толпу рабочих и размышляет:

«Завтра все рабочие примутся за свой тяжкий, упорный, полусуточный труд. Почем знать: кому из них уже предначертано судьбою поплатиться на этом труде жизнью: сорваться с высоких лесов, опалиться расплавленным металлом, быть засыпанным щебнем или кирпичом? И не об этом ли непреложном решении судьбы думают они теперь, отвешивая низкие поклоны и встряхивая русыми кудрями, в то время, когда хор просит богородицу — спасти от бед рабы своя... И на кого, как не на одну только богородицу, надеяться этим большим детям, с мужественными и простыми сердцами, этим смиренным воинам, ежедневно выходящим из своих промозглых, настуженных землянок на привычный подвиг терпения и отваги?

«Так, или почти так думал Бобров...» (I, 52).

Дальнейшее развитие событий обнаруживает, что «эти большие дети с мужественными и простыми сердцами», «эти смиренные воины» отказываются надеяться на одну только богородицу, отказываются безропотно

выходить «из своих промозглых, настуженных землянок на привычный подвиг терпения и отваги».

Таким образом, бунт рабочих, подавленный силой (доктор Гольдберг в конце повести производит перевязки «раненых и изувеченных людей», — I, 102), оказался для Боброва с его интеллигентскими, поздненародническими представлениями о пролетариате совершенно неожиданным, необъяснимым, не укладывающимся в умозрительно созданные социологические схемы.

Куприн не подчеркивает, что оторванность Боброва от рабочей массы, от ее интересов, ее борьбы является одной из самых основных причин его жизненной катастрофы. Однако современному советскому читателю это ясно.

Не менее неожиданным явился бунт рабочих и для Квашнина. Куприн показывает это, введя в главе девятой «неожиданное происшествие траги-комического свойства» (I, 71): это разговор «жен, сестер и матерей заводских рабочих» с «рыжим и толстым начальником», Квашниным. Ловкий демагог, Квашнин успокаивает женщин щедрыми обещаниями: «бабы расхотелись совсем ошастливленные» (I, 74), и «этот неожиданный эпизод, окончившийся так благополучно, сразу развеял всех». Квашнин даже произносит по этому поводу самоуверенно-циничную тираду: «Нужно уметь объясняться с этим народом. Вы можете обещать им все, что угодно — алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день и бифштексы на завтрак, — но делайте это очень уверенно. Клянусь вам: я в четверть часа потушу одними обещаниями самую бурную народную сцену...» (I, 75).

И эта самодовольная похвальба оказывается несостоятельной через несколько же часов. Рабочая масса уже выросла из того состояния, когда ее можно было успокоить одними обещаниями. Квашнин мог быстро отделаться от лежковерных женщин, но рабочим было уже мало одних пустых обещаний: вспыхивает бунт или, как из цензурных опасений Куприн заставляет говорить Квашнина, «самая бурная народная сцена».

«Молох» Куприна, даже со скомканным концом, показал, что период сравнительно мирных отношений между капиталистами и рабочими завершился и силе

рабочего коллектива буржуазия должна была противопоставить силу вооруженных войск.

Потушенный обещаниями «бабий бунт» был последним эпизодом старой тактики буржуазного политика Квашнина. Называя этот эпизод траги-комическим, Куприн был прав: непонимание Квашниным настроений рабочих его завода имело трагический характер, а его самодовольство и самоуверенность производят комическое впечатление.

Было бы неверно утверждать, что основным замыслом повести исчерпывается идейное содержание «Молоха».

Повесть эта была для Куприна важным этапом в литературном развитии. От беглых зарисовок «Киевских типов», от неглубоких «Миниатюр», отдававших газетной спешкой, он обратился к большой литературной форме, требовавшей вдумчивой, углубленной разработки.

Поставив своей целью показать «молох» капитализма, Куприн все же не смог отойти от привычной манеры тогдашних писателей: в центре его внимания, с первой до последней страницы повести, стоит инженер Бобров. Чтобы сделать своего героя более понятным читателю, Куприн уделяет много места раскрытию внутреннего мира Боброва, его душевных переживаний, его физического состояния. Очень часто Куприн употребляет в этой связи глагол «чувствовать» или близкие по значению: «Как многие нервные люди, он чувствовал себя очень нехорошо по утрам» (I, 4); «Нынешний день Бобров особенно нехорошо себя чувствовал» (7); «Каждый раз, отправляясь к Зиненкам, он испытывал приятный и тревожный подъем духа» (15); «Бобров чувствовал эту глухую вражду» (17), и т. д. Характерно, что в отношении всех прочих действующих лиц «Молоха» этого способа раскрытия душевного мира Куприн не применял.

Той же цели служит у Куприна и изложение биографии Боброва, кстати, в дальнейших обработках повести несколько сокращенное. Так, в журнальном тексте находилось опущенное позднее описание семейной обстановки, в которой воспитывался герой: «Ласка и нежность с детства обходили Боброва. Отца он не помнил. Мать его была суровая и раздражительная женщина, почти помешанная на странствующих монашенках. Пять лет тому назад ею совершенно овладело религиозное

умопомешательство (вообще в ее роду сумасшествие было явлением наследственным)». ⁷ Эту «наследственную» психопатичность Боброва, как не отвечающую общей идее произведения, Куприн не мог не удалить: неврастения и морфинизм Боброва должны были быть «благоприобретенными», должны были быть результатом разлагающего влияния «молоха».

Одним из существенных приемов раскрытия внутреннего мира героя было у Куприна введение образа доктора Гольдберга (в журнальной редакции — Скобеева), в беседах с которым Бобров высказывал самые заветные свои мысли и переживания. К этому приему Куприн прибег позднее и в «Поединке» и — несколько в другой форме — в «Яме».

Изображая рабочую массу как фон, на котором разворачивается испорченная жизнь и тяжелые нравственные потрясения одинокого, честного, но безвольного Боброва, Куприн как автор не видел подлинной исторической роли рабочего класса, его субъективные симпатии к угнетенной массе не перешли в сознательную борьбу в месте с рабочими, а с т о р о н е рабочих. Общедемократическая позиция Куприна диктовала ему и основную идею произведения, правильную в целом, но неясную по своим дальнейшим перспективам, и подсказала ему художественные способы решения поставленной задачи. Повесть Куприна оказалась социально-психологической, а не социально-политической. Поэтому закономерно было то, что в центре внимания Куприна стояла судьба и психика Боброва, а не судьба и психика рабочих, вступивших на путь революционной борьбы. Куприн понимал, что трагедия Боброва — следствие капиталистических отношений, понимал он также, что и положение рабочих — результат капиталистической эксплуатации. Но связать обе линии своей повести в одно целое, привести своего героя к осознанию источников зла Куприн не сумел. Но и в том виде, как «Молох» вышел в свет, это было литературное явление большого социального звучания.

Куприн часто говорил о том, какое отрицательное значение имело для его творчества отсутствие у него систематического образования. Еще более отрицательное

⁷ Русское богатство, 1896, № 12, стр. 143.

значение имело для него отсутствие целостного, передового политического мировоззрения. Общедемократическая точка зрения, на которой он стоял, могла до поры до времени затушевывать отсутствие такого политического мировоззрения, но заменить его не могла. Именно это и повлекло за собой противоречия и слабые стороны первого большого произведения Куприна. Могло иметь значение и то, что изображенное им выступление рабочих не шло под знаком четких политических требований.

В «Молохе» Куприн изобразил рабочий бунт, можно сказать даже, что объяснил и оправдал его, но не понял его по-настоящему. Психология рабочего-революционера осталась для Куприна недоступной. Поэтому он и не обращался в дальнейшем к изображению рабочего класса: правильно показать рабочее движение, революционную борьбу можно было только с позиций социалистического реализма, который явился историческим итогом революции 1905 года. Критический реализм Куприна был бессильен правильно изобразить ведущее историческое противоречие эпохи, показать перспективы развития рабочего движения.

Глава четвертая

В ПЕТЕРБУРГЕ. — «ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ». — «МИР БОЖИЙ». — СБЛИЖЕНИЕ С ГОРЬКИМ

Летом 1901 г. Куприн познакомился в Ялте у Чехова с издателем демократического «Журнала для всех» В. С. Миролюбовым, который пригласил его в Петербург в качестве секретаря своего издания.

Осенью, полный творческих замыслов и разнообразных впечатлений, Куприн поселяется в Петербурге. К этому времени он уже пользуется довольно значительной известностью. Его рассказы и повести охотно печатаются наиболее влиятельными из тогдашних легальных журналов — «Русским богатством» и «Миром божьим». Бодрый, открытый взгляд на жизнь выгодно выделял произведения Куприна на фоне становившегося модным в то время декадентства.

Работа в «Журнале для всех» имела для Куприна большое значение. Он вошел в круг настоящих писателей, которые могли научить его серьезному и ответственному отношению к писательскому делу. В провинции Куприн был предоставлен самому себе, рядом с ним не было никакого авторитетного литератора, на критические суждения которого мог бы он опереться и который был бы в состоянии научить его чему-нибудь. Правда, в «Русском богатстве», куда он с 1893 г. посылал свои произведения, к молодому автору относились хорошо, его тепло встретил Н. К. Михайловский, с которым Куприн познакомился лично во время своего пребывания в Петербурге в 1893 г. и поддерживал в дальнейшем переписку, хотя и не очень деятельную. Но все это, пока Куприн находился

в провинции, не могло дать ему той школы, без которой и талантливый писатель рискует остаться дилетантом.

Незадолго до того Куприн познакомился с Буниным, Чеховым, позднее с Горьким и многими другими литераторами; бывая в Москве, он посещал знаменитые телешовские «среды», объединявшие демократически настроенных писателей реалистического направления. Как сотрудник «Журнала для всех», как секретарь редакции этого журнала, Куприн близко сталкивался с редактором-издателем этого издания, упоминавшимся выше В. С. Миролюбовым. О последнем Куприн позже отзывался с большой теплотой, вспоминая, как Миролюбов постоянно указывал ему на необходимость строгого отношения к таланту и упрекал его за отсутствие в его рассказах идейной целеустремленности: «гвоздя нет», — говорил он. Вместе с тем Куприн в письмах к Чехову очень неодобрительно отнесся к временному сближению Миролюбова с Религиозно-философским обществом, в котором царило «только одно мракобесие отцов церкви, истерические кривляния Мережковского и ехидное смирение Розанова».¹

Знакомство с Буниным имело для Куприна большое значение. Хотя позднее Куприн и писал довольно удачные пародии на И. А. Бунина (VII, 5—6), но этот последний, по его собственному признанию, оказал на него ощутимое влияние едкими нападками на банальность приемов.

В «Журнале для всех» за 1901 г. Куприн поместил ряд своих рассказов: в июльском номере — «В походе», в августовском — «На реке», в 1903 г. в январском номере был напечатан «Трус».

В 1902 г. Куприн начинает сотрудничать в журнале «Мир божий» и некоторое время активно работает в редакции этого издания. Здесь печатаются его рассказы: «В цирке» (1902, январь), «Болото» (1902, декабрь), «Корь» (1904, апрель), «С улицы» (1904, декабрь).

В 1902 г. Куприн женился на М. К. Давыдовой, в руки которой позднее перешел журнал «Мир божий».

¹ Гос. Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отд. рукописей, шифр: Чех., п. 48, 80б.

В течение 1903—1904 и начала 1905 г. он работает над самым крупным своим произведением того времени — над повестью «Поединок».

Большое значение имело для Куприна относящееся к концу ноября 1902 г. знакомство, а затем и сближение с Горьким. Непосредственным результатом их знакомства было то, что в 1903 г. в руководимом Горьким издательстве «Знание» вышел в свет первый том «Рассказов» Куприна. Критика откликнулась на выход книги сочувственно. А. И. Богданович, постоянный критик «Мира божьего», в свое время упрекавший «Молоха» Куприна за банальность,² в 1903 г. заявляет, что «в лице г. Куприна русская литература, по нашему мнению, обогатилась новой крупной силой, от которой мы можем ожидать многого».³ Несколько сдержанней, но все же с большой симпатией отнесся к «Рассказам» Куприна критик журнала «Образование», Н. Ашешов, который особенно отмечал связь Куприна с «знаньевцами» и называл его одним из наиболее крупных представителей этого направления.⁴ Появление «Рассказов» Куприна в издании «Знания» прочно связало в представлении читающей публики его имя с Горьким. Эта связь в еще большей мере укрепилась, когда в 1905 г. в шестом томе сборника «Знания» была напечатана повесть Куприна или, как он часто называл ее, роман «Поединок». Произведение это окончательно определило место Куприна как в современной русской литературе, так и в истории русской литературы вообще. С 1905 г., со времени опубликования «Поединка», период «подавания надежд» для Куприна кончился, он стал признанной величиной.

² Мир божий, 1897, февраль, отд. II, стр. 9—10.

³ Мир божий, 1903, апрель; перепечатано в книге Богдановича «Годы перелома» (СПб., 1908, стр. 406).

⁴ Образование, 1903, июнь, отд. II, стр. 69—80.

Глава пятая

«ПОЕДИНОК»

История «Поединка» недостаточно еще ясна, несмотря на наличие ряда мемуарных и других свидетельств, — или, может быть, именно в силу противоречивости этих свидетельств. Если попытаться разобраться в существующем материале и на основании его представить обстоятельства появления «Поединка», то складывается такая картина.

В 1893 г. у Куприна возникла идея написать роман, — возможно, из жизни военных. Тогда же он и начал работать над этой темой. По крайней мере, в недатированном письме к Н. К. Михайловскому, относящемся к концу 1893 г. (Куприн поздравляет адресата с наступающим новым годом и говорит о рассказе «Лунной ночью», напечатанном в № 11 «Русского богатства» за 1893 г.), находится следующее место: «Я пишу большой роман „Скорбящие и озлобленные“, но никак не могу тронуться дальше 5 главы». Об этом романе Куприна ни у его биографов, ни в его письмах никаких сведений нет. Однако заключить, что роман «Скорбящие и озлобленные» был посвящен теме полковой жизни, можно из того, что герой «Поединка», подпоручик Ромашов, которому, как известно, Куприн придал автобиографические черты, также пытался писать роман о военных: «Его тянуло написать повесть или большой роман, канвой к которому послужили бы ужас и скука военной жизни. В уме все складывалось отлично, — картины выходили яркие, фигуры живые, фа-

була развивалась и укладывалась в прихотливо-правильный узор, и было необычайно весело и занимательно думать об этом. Но, когда он принимался писать, выходило бледно, по-детски вяло, неуклюже, напыщенно и шаблонно. Пока он писал, — горячо и быстро, — он сам не замечал этих недостатков, но стоило ему рядом с своими страницами прочесть хоть маленький отрывок из великих русских творцов, как им овладевали бессильное отчаяние, стыд и отвращение к своему искусству» (II, 233).

Повидимому, «Скорбящие и озлобленные» — это был первый вариант «Поединка», не удовлетворивший Куприна и потому брошенный.

О смысле заглавия «Скорбящие и озлобленные» можно заключить из следующего. В 1894 г. Куприн опубликовал в «Русском богатстве» (№ 12) повесть «Лидочка», впоследствии печатавшуюся под заглавием «К славе» (V, 284—324). Героиня, измотанная жизнью актриса, испытывавшая много горьких и незаслуженных обид, встречается со своим старым знакомым и в минуту душевного потрясения рассказывает ему обо всем, что выпало ей на долю. Они расстаются с тем, чтобы завтра вновь встретиться. И вот в конце повести рассказчик сообщает: «Но вышло на другой день нечто неожиданное, странное, на мой тогдашний взгляд даже нелепое. Вам приходилось, господа, слышать, как в церкви возглашают моление: „О всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, чающей Христова утешения“? Вот Лидочка-то именно и принадлежала к этим скорбящим и озлобленным. Это самые неуравновешенные люди. Треплет-треплет их судьба и так в конце концов изуродует и ожесточит, что и узнать трудно. Много в них чуткости, нежности, сострадания, готовности к самопожертвованию, доброты сердечной, а с другой стороны — гордость сатанинская, обидчивая и нелепая гордость, постоянное сомнение и в себе и в людях, склонность во всех своих ощущениях копаться и, главное, какой-то чрезмерный, дикий стыд. Нашла минута — отдаст он вам душу, самое дорогое и неприкосновенное перед вами выложит, а прошла минута — и он вас сам за свою откровенность уже ненавидит и торопится облегчить себя оскорблением. Позднее я догадался, что и Лидочка была

из числа этих загнанных судьбою» (V, 321—322). Героиня повести вернулась к своему прежнему образу жизни.

Что повесть «Лидочка» в два печатных листа не была тем «большим романом», о котором Куприн писал незадолго до того Н. К. Михайловскому и далее пятой главы которого не мог никак тронуться, — совершенно очевидно. Надо полагать, что, убедившись в невозможности написать психологический роман «Скорбящие и озлобленные», который должен был бы изображать быт военных и в то же время строиться по принципам романов Достоевского, т. е. быть одновременно и бытовым и психологическим, Куприн основную — психологическую — трактовку своего героя перенес в повесть «Лидочка». Если правильно наше предположение, что «Скорбящие и озлобленные» должны были представлять собой роман из жизни военных и главный герой должен был обладать характером, подобным характеру Лидочки, то понятна и неудача, постигшая Куприна в его «большом романе». Не психологический роман в духе Достоевского следовало написать на материале наблюдений над жизнью армии, а обличительный, социально-политический роман, чего в 90-е годы Куприн сделать еще не мог.

К новому большому произведению из жизни военных Куприн обратился лишь почти через десять лет, в 1902—1903 гг.

Однако пока Куприн обдумывал и собирал материалы, произошло одно литературное событие, доставившее ему немало огорчений. Немецкий писатель Фриц фон Кюрбург, писавший под псевдонимом Фриц-Освальд Бильзе, в 1903 г. выпустил роман «Aus einer kleinen Garnison». Книга эта, ставившая своей целью разоблачение грубого солдафонства, кастовой замкнутости и пошлого высокомерия и тупости германской военщины, имела огромный успех, тем больший, что против автора был возбужден нашумевший процесс и Бильзе-Кюрбург, по приказу императора Вильгельма II, был исключен из военной службы. Уже в 1903 г. в «Русском богатстве» (ноябрь) и в 1904 г. в «Образовании» (январь) появляются статьи, посвященные «Маленькому гарнизону». В 1904 г. выходит в свет несколько переводов этого произведения Бильзе.

Появление романа Бильзе и возникшая вокруг него шумиха произвели на Куприна тяжелое впечатление, он даже несколько раз бросал начатую работу. След этих переживаний сохранился у него и много позднее. Так, еще в 1910 г. Куприн не освободился окончательно от неприятных воспоминаний: «Мое несчастье, — говорил он в одном интервью, — заключается в том, что, когда я что-нибудь задумаю и пока соберусь задуманное написать, — в этот промежуток кто-либо обязательно уже это напишет. Так было с „Ямой“, — появилась „Ольга Ерузалем“,¹ так было и с „Поединком“ в 1902 г., когда появились записки Бильзе „В маленьком гарнизоне“. Даже мой „Поединок“ переводился на французский язык так: „La petite garnison russe“».²

После некоторых колебаний и сомнений Куприн под влиянием М. Горького приходит к выводу, что ему необходимо как можно скорее осуществить свой замысел. Он уезжает в Балаклаву, где работает над начатым романом. Об этом Куприн рассказывал позднее в интервью, данном репортеру «Биржевых ведомостей».³ Однако ход работы не удовлетворял писателя, и он, пожив некоторое время еще и в Одессе, возвратился в Петербург. По словам М. К. Куприной-Иорданской, работа над «Поединком» особенно усиленно протекала зимой 1905 г.⁴ Первоначально «Поединок» предназначался для «Мира божьего», но когда в течение 1904—1905 гг. Куприн особенно сблизился с Горьким, он принял решение поместить свой роман в очередном томе сборника «Знание» и в письме от 25 августа 1904 г. из Одессы известил об этом Ф. Д. Батюшкова.

Работа над «Поединком» шла у Куприна не особенно успешно, и в том, что роман этот был завершен, большая заслуга Горького, во-время оказывавшего писателю дружескую нравственную поддержку. Об этом существуют собственные свидетельства Куприна. «А. М. Горький был

¹ Куприн имел в виду роман немецкой писательницы Ольги Ерузалем «Священный скарабей» (1909).

² С. С п и р о. У А. И. Куприна. — Русское слово, 1910, 14 марта.

³ В а с. Р е г и н и н. Встречи. А. И. Куприн. — Биржевые ведомости, 1908, 22 января, № 10313.

⁴ Из воспоминаний об А. И. Куприне. — Огонек, 1945, № 36, стр. 8.

трогательным товарищем по литературе, умел во время поддерживать, подбодрить. Помню, я много раз бросал „Поединок“, мне казалось, — недостаточно ярко сделано, но Горький, прочитав написанные главы, пришел в восторг и даже прослезился. Если бы он не вдохнул в меня уверенность к <!> работе, я романа, пожалуй, своего так бы и не закончил». ⁵ В другом месте Куприн с еще большей определенностью характеризует роль Горького в создании романа: «„Поединок“ не появился бы в печати, если б не влияние Алексея Максимовича. В период моего неверия в свои творческие силы он оказал мне большую помощь». ⁶

Так представлялась Куприну роль Горького в появлении в свет «Поединка» через треть века. Аналогичны высказывания Куприна по тому же поводу, сделанные под непосредственным впечатлением только что завершившейся работы: «Завтра выходит VI сборник <„Знания“>. . . Теперь, наконец, когда уже все окончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился от Вас и как я признателен Вам за это». ⁷

Говоря о том, что Горькому принадлежит «все смелое и буйное» в «Поединке», Куприн имел в виду, конечно, прежде всего политический смысл творчества Горького, его смелую критику социально-политического уклада, его пламенную веру в свободного, прекрасного человека, его призывы к борьбе со старым миром.

В эти годы Куприн внимательно следил за творчеством Горького, читал не только все его художественные произведения, но и публицистические статьи, печатавшиеся в газетах. Куприн по приглашению Горького присутствовал на чтении последней пьесы «Дети солнца» у И. Е. Репина; много и часто общался он с Горьким после смерти Чехова, когда ими обоими был задуман сборник памяти Чехова, так и не осуществившийся. Поэтому неудивительно, что в произведениях Куприна 1903—1906 гг. есть много непосредственных отражений

⁵ Из беседы с А. И. Куприным. — Литературная газета, 1937, 15 июня, № 32.

⁶ Ключки воспоминаний. — Коммунист (Саратов), 1937, 18 июня.

⁷ Письмо М. Горькому от 5 мая 1905 г. (ИМЛИ, шифр: КГ—П 41-10-2). В оригинале явная ошибка: 5 мая 1906 г.

влияния Горького, есть фразы, напоминающие отдельные места «Человека», «О писателе, который зазнался», «Перед лицом жизни», «Мещан», «На дне» и других горьковских произведений.

Однако не одни только литературные восприятия и факты бытового общения определяли значение Горького для развития мировоззрения и художественного творчества Куприна.

Писатели, даже самые крупные, как Чехов и Л. Толстой, с которыми встречался Куприн и которые не могли не оказывать на него морального воздействия, были для него людьми той же общественно-политической и художественной среды, к которой принадлежал и он сам. Это были передовые писатели, представители критического реализма в его высшем развитии. Как личности Толстой и Чехов вызывали у Куприна глубокое уважение и преклонение, но он не мог видеть в них того, что увидел в Горьком, что отличало последнего от его гениальных предшественников.

Горький был в те годы наиболее ярким выразителем передовой политической мысли в русской художественной литературе, его связь с социал-демократами, с рабочим движением, его революционные выступления и правительственные репрессии против него были у всех перед глазами. В эти годы Горький был на пути к социалистическому реализму, почти каждое новое его произведение тех лет являлось не только литературным, но и политическим событием. Это был голос революционного пролетариата, шедшего к декабрьским боям 1905 года, голос нового творца истории.

И все это не могло не захватить, не заразить своей энергией, не увлечь Куприна.

Колоссальное значение имели для Куприна прежде всего сами революционные события тех лет, в особенности 1905 года, и было бы грубой ошибкой считать идейное богатство «Поединка» результатом одного только влияния Горького.

Письма Куприна к Чехову 1902—1904 гг., а также и другим адресатам пестрят сведениями об общественно-политических событиях и довольно резкими характеристиками и оценками их. Чувствуется, что писатель, раньше довольно безразлично относившийся к политической

жизни страны, начал все внимательнее и вдумчивее вглядываться в окружающую его социально-политическую борьбу, все серьезнее осмысливать останавливавшие его внимание факты. Несомненно, очень повлиял на рост политической сознательности Куприна в эти годы неудачный ход событий Русско-японской войны.

В мае 1905 г., когда вся страна находилась под тяжелым впечатлением военных неудач и ширившегося революционного движения, появился шестой том сборника «Знание» с «Поединком» Куприна. В этой публикации «Поединок» имеет посвящение М. Горькому, опускавшееся потом Куприным при отдельных изданиях романа, начиная со второго.

Исторические условия, в которых появился «Поединок», актуальность «военной темы», сила художественного обличения определили исключительный успех произведения. Шестой сборник «Знания» был отпечатан в 20 000 экземпляров, немедленно разошедшихся, и через месяц понадобилось новое издание этого тома. Затем «Поединок» вышел отдельной книгой, переиздававшейся до 1916 г. пять раз. Характерно, что даже во время империалистической войны «Поединок» Куприна воспринимался как злободневное литературное произведение.

Что же так подкупало читателей в «Поединке»? Изображая офицерство конца XIX—начала XX в., Куприн с беспощадной правдивостью, напоминающей лучшие страницы «Севастопольских рассказов» Л. Толстого, говорил о темных, безотрадных сторонах жизни русской армии; говорил с болью и горечью, показывая, что даже лучшие из офицеров не в состоянии хотя бы сколько-нибудь изменить сложившийся уклад, не пытаются его изменить и, в конце концов, гибнут.

Куприн начал писать «Поединок» перед Русско-японской войной, а закончил его уже после падения Порт-Артура. Хотя в повести о самой войне не говорилось ничего, однако «Поединок» воспринимался читателями как своеобразный комментарий к дальневосточным событиям.

Еще в 1904 г. в проекте листка «Первого мая» В. И. Ленин писал: «Война разоблачает все более ярко, все более наглядно всю гнилость самодержавного порядка, всю преступность полицейской и придворной

шайки, которая правит Россией... Война разоблачает все слабые стороны правительства, война срывает фальшивые вывески, война раскрывает внутреннюю гнилость, война доводит нелепость царского самодержавия до того, что она бьет в глаза всем и каждому, война показывает всем агонию старой России, России бесправной, темной, забитой, России, остающейся в крепостной зависимости у полицейского правительства.

«Старая Россия умирает. На ее место идет свободная Россия. Темные силы, которые охраняли царское самодержавие, гибнут».⁸

В начале 1905 г. в статье «Падение Порт-Артура» В. И. Ленин писал: «Не русский народ, а русское самодержавие начало эту колониальную войну, превратившуюся в войну старого и нового буржуазного мира. Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению. Русский народ выиграл от поражения самодержавия».⁹

Повесть Куприна появилась вскоре после падения Порт-Артура и была воспринята как разоблачение одной из темных сил, охранявших царское самодержавие. Реакционное руководство армии было повинно в том состоянии офицерства и солдатских масс, которое с необыкновенной для того времени смелостью изобразил Куприн. Именно эта смелость и правдивость «Поединка» привлекли внимание читателей к повести.

Как и в «Молохе», правдивое изображение жизни и быта (солдат и офицеров) помогло Куприну создать произведение огромной обличительной силы. Здесь гуманизм Куприна сказался особенно ярко. «Поединок» был построен Куприным в общем по принципам его первой повести. Внимание автора сосредоточено преимущественно на главном герое, подпоручике Ромашове, на его душевных переживаниях, на характеристике его отношения к людям, на его оценках действительности — совершенно так же, как в «Молохе» в центре стоял инженер Бобров. И подобно тому, как завод и рабочие были фоном «Молоха», так полк, офицерство и солдаты представляли фон «Поединка».

⁸ В. И. Ленин. Сочинения, т. 7, стр. 183—184.

⁹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 8, стр. 37.

Однако в новом своем произведении Куприн уже отступил от принципа «суммарного» изображения фона: вместо безликой массы рабочих «Молоха», «Поединок» содержит более подробную, более дифференцированную характеристику солдатской массы.

Куприн с теплотой и чуткостью изображает и денщика Ромашова черемиса Гайнана, и больного, затравленного солдата Хлебникова, и молодых солдат — татар Мухамеджинова и Шарафутдинова, едва понимавших и говоривших по-русски и никак не умевших усвоить хитрое «учение» и «словесность». Характеризуя солдата Архипова, «дельного, умного и ловкого парня вне службы», отмечая «его здоровый ум, привыкший наблюдать и обдумывать простые и ясные явления деревенского обихода», Куприн объясняет его неспособность усвоить вдалбливаемую в него «науку» неумением уловить связь между солдатской «словесностью» и действительной жизнью. Таким образом, солдаты изображаются в «Поединке» хотя и бегло, но индивидуализированно и с гуманным, искренним чувством.

Рисует Куприн, но уже с явной неприязнью, фельдфебеля Рынду, унтер-офицера Шаповаленку и ефрейтора Сероштана, «бравых служак», единственным воспитательным средством которых являются побои, зуботычины, затрещины. С еще большим возмущением изображал Куприн офицеров, применявших такие же дикие приемы воспитания солдат. Характеризуя тем самым условия жизни основной массы армии, Куприн так изображал полковые будни:

«Готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, ни устали. Ротные командиры морили свои роты по два и по три лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, из всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто издали, шагов за двести, Ромашов наблюдал, как какой-нибудь расвирепевший ротный принимался хлестать по лицам всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки и — только спустя секунду — сухой треск удара, и опять, и опять, и опять... В этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, — били

в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться: наступил какой-то общий, чудовищный, зловещий кошмар; какой-то нелепый гипноз овладел полком... У всех нервы напряглись до последней степени... Солдаты осунулись и глядели идиотами» (II, 187—188).

Потрясающее впечатление производит следующая непосредственно за цитированными строками картина отдыха солдат: «В редкие минуты отдыха из палаток не слышалось ни шуток ни смеха. Однако их все-таки составляли по вечерам, после переключки, веселиться. И они, собравшись в кружок, с безучастными лицами равнодушно гаркали:

Для расейского солдата
Пули, бомбы ничего,
С ними он за панибрата,
Все безделки для него.

«А потом играли на гармонии плясовую, и фельдфебель командовал:

«— Грегоращ, Скворцов, у круг! Пляши, сукины дети!.. Веселись!

«Они плясали, но в этой пляске, как и в пении, было что-то деревянное, мертвое, от чего хотелось плакать» (II, 188).

Подробнее, чем солдат, изобразил Куприн в «Поединке» офицеров. С эпизодическими и упоминаемыми в рассказах других действующих лиц всего в «Поединке» показано тридцать пять офицеров. Такое обилие образов офицеров не случайно: Куприн явно стремился к тому, чтобы подчеркнуть массовость, типичность изображаемых им представителей русского офицерства конца XIX—начала XX в.

Несмотря на столь большое число образов офицеров в «Поединке», все они в большей или меньшей степени схожи. Куприн заостряет на этом внимание читателей при помощи ряда обобщающих характеристик.

«За исключением немногих честолюбцев и карьеристов, все офицеры несли службу, как принудительную, неприятную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее. Младшие офицеры, совсем по-школьнически,

опаздывали на занятия и потихоньку убегали с них, если знали, что им за это не достанется. Ротные командиры, большей частью люди многосемейные, погруженные в домашние дразги и в романы своих жен, придавленные житейской бедностью и жизнью сверх средств, кряхтели под бременем непомерных расходов и векселей. Они строили заплату на заплате, хватая деньги в одном месте, чтобы заткнуть долг в другом; многие из них решались — и чаще всего по настоянию своих жен — заимствовать деньги из ротных сумм или из платы, приходившейся солдатам за вольные работы; иные по месяцам и даже годам задерживали денежные солдатские письма, которые они, по правилам, должны были распечатывать. Некоторые только и жили, что винтом, штоссом и ландскнехтом: кое-кто играл нечисто, — об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. При этом все сильно пьянствовали как в собрании, так и в гостях друг у друга, иные же, вроде Сливы, — в одиночку.

«Таким образом, офицерам даже некогда было серьезно относиться к своим обязанностям... На службу ротные ходили с таким же отвращением, как и субалтерн-офицеры, и „подтягивали фендриков“ только для соблюдения престижа, а еще реже из властолюбивого самодурства.

«Батальонные командиры ровно ничего не делали, особенно зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания — батальонного и бригадного командиров: начальники эти всегда находятся в самом неопределенном и бездейтельном положении. Летом им все-таки приходилось делать батальонные учения, участвовать в полковых и дивизионных занятиях и нести трудности маневров. В свободное же время они сидели в собрании, с усердием читали „Инвалид“ и спорили о винопроизводстве, играли в карты, позволяли охотно младшим офицерам угощать себя, устраивали у себя на домах вечеринки и старались выдавать своих многочисленных дочерей замуж.

«Однако перед большими смотрами все, от мала до велика, подтягивались и тянули друг друга. Тогда уже не знали отдыха, наверстывая лишними часами занятий и напряженной, хотя и бестолковой энергией то, что было пропущено. С силами солдат не считались, доводя людей

до изнурения. Ротные жестоко резали и осаживали младших офицеров, младшие офицеры сквернословили неестественно неумело и безобразно, унтер-офицеры, охрипшие от ругани, жестоко дрались. Впрочем, дрались и не одни только унтер-офицеры» (II, 71—72).

Такова характеристика офицерства, введенная в «Поединок» от имени автора. Параллель ей образует оценка армейских офицеров, находящаяся в одном из монологов Назанского:

«Поглядите-ка вы на наших офицеров. О, я не говорю про гвардейцев, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у своих родителей и законных жен. Нет, подумайте вы о нас, несчастных армеутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это заваль, рвань, отбросы. В лучшем случае — сыновья искалеченных капитанов. В большинстве же — убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже неокончившие семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за своего горшка щей. Ему приказывают: стреляй, и он стреляет, — кого? за что? Может быть, понапрасну? — Ему все равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзанные, рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово: „присяга!“. Все, что есть талантливое, способное, — спивается. У нас семьдесят пять процентов офицерского состава больны сифилисом. Один счастливец — и это раз в пять лет — поступает в академию, его провожают с ненавистью. Более прилизанные и с протекцией неизменно уходят в жандармы или мечтают о месте полицейского пристава в большом городе. Дворяне и те, кто хотя с маленьким состоянием, идут в земские начальники. Положим, остаются люди чуткие, с сердцем, но что они делают? Для них служба — это сплошное отвращение, обуза, ненавидимое ярмо» (II, 272—273).

Если на первых страницах повести Куприн показывает какие-то светлые исключения из общей массы офицерства, как Рафальский, Стельковский, то в дальнейшем

разоблачаются и они, и Назанский как бы вместо автора говорит:

«...все они, даже самые лучшие, самые нежные из них, прекрасные отцы и внимательные мужья, — все они на службе делаются низменными, трусливыми, глупыми зверюшками. Вы спросите: почему? Да именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит» (II, 275).

Впрочем, среди множества мало отличающихся друг от друга офицеров «Поединка» есть несколько образов, заслуживающих особого внимания. О «Поединке» принято говорить, — и это совершенно правильно, — что своей повестью Куприн объяснил неудачу Русско-японской войны. Однако заслуга Куприна в «Поединке» не исчерпывается этим. В характеристиках некоторых офицеров конца XIX—начала XX в. Куприн, — и не предполагая этого, — показал то, из чего развивалась дикая, «феодалная» психология белогвардейцев периода 1917—1922 гг. С исключительной отчетливостью это проявилось в следующем эпизоде повести:

«На другом конце скатерти зашел разговор о предполагаемой войне с Германией, которую тогда многие считали делом почти решенным. Завязался спор, крикливый, в несколько ртов зараз, бестолковый. Вдруг послышался сердитый, решительный голос Осадчего. • Он был почти пьян, но это выражалось у него только в том, что его красивое лицо страшно побледнело, а тяжелый взгляд больших черных глаз стал еще сумрачнее.

«— Ерунда! — воскликнул он резко. — Я утверждаю, что все это ерунда. Война выродилась. Все выродилось на свете. Дети рождаются идиотами, женщины сделались кривобокими, у мужчин нервы. „Ах, — кровь! Ах, я падаю в обморок!“ — передразнил он кого-то гнусавым тоном. — И все это оттого, что миновало время настоящей свирепой беспощадной войны. Разве это война? За пятнадцать верст в тебя — бах! — и ты возвращаешься домой героем. Боже мой, какая, подумаешь, доблесть! Взяли тебя в плен. „Ах, миленький, ах, голубчик, не хочешь ли покурить табачку? Или, может быть, чайку? Тепло ли тебе, бедненький? Мягко ли?“. У-у! — Осадчий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, готовый нанести удар. — В средние века дрались — это я по-

нимаю. Ночной штурм. Весь город в огне. „На три дня отдаю город солдатам на разграбление!“. Ворвались. Кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развалинах! Женщин — обнаженных, прекрасных, плачущих — тащили за волосы. Жалости не было. Они были сладкой добычей хабрецов!..

«— Однако вы не очень распространяйтесь, — заметила шутливо Софья Павловна Тальман.

«— По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра качались черные тела на виселицах, и над ними кричали вóроны. А под виселицами горели костры и пировали победители. Пленных не было. Зачем пленных? Зачем отрывать для них лишние силы? А-ах! — яростно простонал со сжатыми зубами Осадчий. — Что это было за смелое, что за чудесное время! А битвы! Когда сходились грудь с грудью и дрались часами, хладнокровно и бесшечно, с озверением и с поразительным искусством. Какие это были люди, какая страшная физическая сила! Господа! — Он поднялся на ноги и выпрямился во весь свой громадный рост, и голос его зазвенел восторгом и дерзостью. — Господа, я знаю, что вы из военных училищ вынесли золотушные, жиденькие понятия о современной гуманной войне. Но я пью... Если даже никто не присоединится ко мне, я пью один за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость!

«Все молчали, точно подавленные неожиданным экстазом этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и глядели на него с любопытством и со страхом. Но вдруг вскочил с своего места Бек-Агамалов. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули, а одна из женщин вскрикнула в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали, крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он задышался и не находил слов.

«— О, о!.. Вот это... вот, я понимаю!! А! — Он с судорожной силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку Осадчего. — К черту эту кислятину! К чорту жалость! А! Р-руби!

«Ему нужно было отвести на чем-нибудь свою варварскую душу, в которой в обычное время тайно дремала старинная, родовая кровожадность. Он, с глазами, на-

лившимися кровью, оглянулся кругом и, вдруг выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту. Ветки и молодые листья полетели на скатерть, осыпав, как дождем, всех сидящих.

«— Бек! Сумасшедший! Дикарь! — закричали дамы.

«Бек-Агамалов сразу точно опомнился и сел. Он казался заметно сконфуженным за свой неистовый порыв, но его тонкие ноздри, из которых с шумом вылетало дыхание, раздувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гневом, исподлобья, но с вызовом обводили присутствующих» (II, 172—174).

Славословия в честь войны в иступленном монологе Осадчего и в косноязычных, лихорадочных выкриках Бек-Агамалова не представляют чего-то неожиданного и случайного. То, что в диком, грубом виде выражено малокультурными офицерами Осадчим и Бек-Агамаловым, в более изящной, претендующей на философскую глубину форме провозглашается «теоретиком» «Поединка», алкоголиком Назанским. Почти перефразируя яростный монолог Осадчего, Назанский вещает: «Вы знаете ведь, как дети любят играть в войну? Было время кипучего детства и в истории, время буйных и веселых молодых поколений. Тогда люди ходили вольными шайками, и война была общей, хмельной радостью, кровавой и доблестной утехой. В начальники выбирался самый храбрый, самый сильный и хитрый, и его власть до тех пор, пока его не убивали подчиненные, принималась всеми истинно, как божеская...» (II, 275).

Таким образом, «философия» Назанского в какой-то степени оказывается близкой кровожадным инстинктам офицеров, подобных Осадчему и Бек-Агамалову.

Рассуждения Назанского воспринимаются часто не в прямом их смысле; ему приписывают больше, чем есть в этих монологах на самом деле. Впрочем, так же относился к Назанскому и Ромашов. Особенно заметно это в следующем месте «Поединка», где в беседе с Ромашовым Назанский произносит обвинительный приговор всему офицерству, частично уже цитированный выше: «...есть у нас более страшная и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы — слепы и глухи ко всему. Давно уже, где-то вдаль от наших грязных, вонючих стоянок совершается огромная новая, светозарная жизнь.

Появились новые, смелые, гордые люди, загораются в умах пламенные, свободные мысли. Как в последнем действии мелодрамы, рушатся старые башни и подземелья, и из-за них уже видится ослепительное сияние. А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно болбочем: „Что? Где? Молчать! Бунт! Застрелю!“ И вот этого-то индюшачьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят во веки веков» (II, 277).

Некоторые формулировки в этом монологе могут подать и подавали повод полагать, что под «новыми, смелыми, гордыми людьми» Назанский понимает революционеров, что «пламенные, свободные мысли» — это на его образном языке означает идеи социализма и коммунизма. На самом деле это вовсе не так: «свобода человеческого духа», о которой говорит Назанский, — это самый махровый, самый беспримесный анархический индивидуализм. Назанский брезгливо отмахивается от социальных обязанностей личности, от ответа на самые основные вопросы, которые выдвигала и выдвигает перед честными людьми полная социальных противоречий капиталистическая действительность: «До этой поры, — говорит Назанский, — старые вороны и галки вбивали в нас с самой школьной скамьи: „Люби ближнего, как самого себя, и знай, что кротость, послушание и трепет суть первые достоинства человека“. Более честные, более сильные, более хищные говорили нам: „Возьмемся об руку, пойдем и погибнем, но будущим поколениям приготовим светлую и легкую жизнь“. Но я никогда не понимал этого. Кто мне докажет с ясной убедительностью, — чем связан я с этим — чорт бы его побрал! — моим ближним, с подлым рабом, с зараженным, с идиотом? ... Не люблю ближних. А затем, какой интерес заставит меня разбивать свою голову ради счастья людей тридцать второго столетия?..» (II, 278—279).

Слушая этот страстный монолог, мы редко замечаем логические несообразности Назанского. Не всегда приходит в голову вопрос: почему революционеры названы не только «более честными, более сильными», — что верно, — но еще и «более хищными», — что неверно?

В представлениях Назанского революционеры действуют как одиночки, без народных масс, без организа-

ции революционной борьбы угнетенных классов. Революционеры, о которых говорит Назанский, — это, в лучшем случае, народовольцы, а в худшем — либеральные народники, а отнюдь не подлинные революционеры, ранние социал-демократы.

Недостаточно образованный, не привыкший к систематическому, дисциплинированному мышлению, думающий о себе штампованными фразами плохих романов, герой «Поединка», конечно, с благоговением должен был внимать разглагольствованиям Назанского о «новой, божественной вере» — любви «к себе, к своему прекрасному телу, к своему всеильному уму, к бесконечному богатству своих чувств», о «великой вере в свое Я» (II, 279).

Ромашов не только «со стыдливой благодарностью» слушал Назанского, но и сам размышлял «так или почти так». Если иногда, как, например, при встрече с избитым солдатом Хлебниковым, перед Ромашовым вставали вопросы о его личной моральной ответственности за положение подобных несчастных людей, то найти ответ он не мог. Задумываясь над тем, «кто же наконец устроит судьбу забитого Хлебникова, накормит, выучит его и скажет ему: „Дай мне свою руку, брат!“...» (II, 232), он перебирал все категории, все профессии и виды занятий людей, которых называл «устроителями внешнего земного благополучия», — кроме революционеров. В этом сказывалось воспитание Ромашова в пансионе, в кадетском корпусе, в юнкерском училище, служба в армии, где ему и ему подобным всюду и всегда внушалась ненависть к революционерам. То же, что в утрированном виде вдальблывалось ефрейтором Сероштаном солдатам на уроках «словесности» («Кого мы называем врагами внутренними? Внутренними врагами мы называем усах, сопротивляющихся закону. Например, кого? — Так что бунтовщики, студенты, конокрады, жида и поляки!» — II, 140—141), — то, в несколько более «культурной» форме, было усвоено Ромашовым в годы учения: во всех его рассуждениях и размышлениях о жизни совершенно нет места вопросу о революции и о революционерах. Вместо этого Ромашов «своим умом» доходит до проблемы «Я» и «не-Я», не решая ее вообще, а отмахиваясь от правильного ее понимания. Он не в со-

стоянии понять, что каждый человек не только «Я» (для себя), но в то же время и «не-Я» (для другого), что человека нельзя рассматривать вне общества, вне коллектива, умозрительно, отвлеченно. И эта доморощенная «философия» Ромашова — глупое утешение для изломанных жизнью, безвольных и эгоистичных людей, повторяющая зады развития философской мысли человечества, приводит его к тому, что проповедь Назанского о «божественной любви к своему Я» кажется ему совершенной и непререкаемой. Подобные люди способны даже понять, скорее почувствовать неизбежное и близкое возмущение народных масс. Назанский говорит Ромашову: «... настанет время, когда нас, ... господ штаб- и обер-офицеров, будут бить по щекам в переулках, в темных коридорах, в ватерклозетах, когда нас станут стыдиться женщины и наконец перестанут слушаться наши преданные солдаты»^{9а}. Но, неспособный и не желающий сделать вывод о необходимости стать на сторону угнетенного народа и бороться за его интересы в его же рядах, Назанский проповедует учение о «свободе человеческого духа», учение реакционное, выгодное тому политическому и экономическому строю, который создает людей, подобных Назанскому и Ромашову.

«Философия» лучших, в понимании Куприна, персонажей «Поединок», порожденная стремлением найти выход из отупляющей, пошлой обстановки, несостоятельна и вредна и не в ней ценность произведения. Сила, значение «Поединка» в его беспощадной обличительности, в его суровой разоблачающей правде. По глубине, сосредоточенности и яркости критического реализма в изображении военного быта конца XIX—начала XX в. «Поединок» не имеет равных произведений в тогдашней русской литературе.

Главным героем повести Куприна является подпоручик Ромашов. Именно этот образ связывает две линии, проходящие в произведении: «философскую» и психологическую линию Ромашова как личности и социальную, «полковую», «армейскую», с которой переплетены служебные отношения героя. Изучение творчества классиков

^{9а} Цитирую по «Сборнику „Знания“, кн. шестая, СПб., 1905, стр. 272—273. В издании «Нивы» текст изменен.

русской литературы, советы Чехова (об этом подробнее см. ниже, в главе IX), а также М. Горького помогли Куприну избежать шаблонного построения образа Ромашова. Биография и характеристика его даны Куприным не сразу, не в начале «Поединка» или в каком-либо одном месте, как это делалось многими писателями XVIII—XIX и даже XX в., а также и самим Куприным в раннем периоде его творчества.

И прошлое героя, и его внутренний мир, его отношение к людям, к службе, к самому себе раскрываются перед читателем в повести постепенно. В первой главе, например, Ромашов занимает настолько незаметное место, говорит так мало, внешность его описана так бегло, что едва ли может возникнуть предположение, что именно он и есть главное действующее лицо «Поединка». Лишь понемногу знакомит нас автор с героем. Одним из наиболее частых способов раскрытия образа Ромашова является у Куприна монолог героя. При этом автор сперва показывает нам «немножко смешную, наивную привычку» Ромашова «думать о самом себе в третьем лице словами шаблонных романов», а затем вводит нас в подлинный внутренний мир его, помогает читателю понять, что на самом деле Ромашов духовно много богаче, интереснее и неожиданнее, чем можно было думать о нем по первой главе.

Как и в «Молохе», внутренний мир героя Куприн характеризует при помощи, так сказать, «психологических» слов, т. е. слов, дающих не точное и отчетливое описание его душевных состояний, а только приблизительно их намечающих: «Ему чудилась за яркой вечерней зарей какая-то таинственная светозарная жизнь... И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди» (II, 22); «Ромашову казалось...» (39); «Казалось, что...» (44); «И вдруг на один момент мне делается так странно, странно, как будто... И тогда мне делается удивительно...» (48); «У него было такое впечатление, как будто...» (50), и т. д.

Постепенно этот молчаливый, робкий и некрасивый подпоручик внутренне раскрывается перед читателем, привлекая своей свежестью, чистотой и наивностью, а также и своим хотя и не дисциплинированным, но

несомненным природным умом. Биография Ромашова, отдельными штрихами намеченная в повести, позволяет нам понять особенности его мировоззрения, его замкнутость и склонность к мечтам и беспочвенным фантазиям. Эта же биография объясняет нам борьбу в Ромашове индивидуалистического, эгоистического начала (его мысли о своем «Я») и социального, альтруистического (его отношение к солдату Хлебникову). В «Поединке» не показано, какое начало берет в Ромашове верх. Ясно только одно: совместить гуманное отношение к Хлебникову с презрением Назанского к своему «ближнему, подлому рабу, зараженному, идиоту» невозможно. Образ Ромашова, как уже отмечалось, близкий писателю, раскрывает противоречивость восприятия действительности самим автором. Пафос отрицания у Ромашова уживается с кругом привычных представлений, от которых трудно, невозможно оторваться. И хотя существующая действительность отвергается героями повести, но каждый отвергает ее по-своему. Герои повести тоскуют по чему-то такому, что навсегда покончит с окружающей их мерзостью, но ищут выход в замкнутом круге своих представлений, не имея сил из него вырваться.

С глубоким знанием материала изобразил Куприн в «Поединке» и мир «полковых дам». Женских образов — основных и эпизодических — в повести довольно много, хотя и меньше, чем мужских. Более подробно изображены Раиса Александровна Петерсон и Александра Петровна Николаева — Шурочка. О смысле и значении первого образа у читателя не остается никаких сомнений с самого начала повести, с момента получения Ромашовым пошлого и глупого письма Раисы. Мелкая, ничтожная натура, с совершенным отсутствием нравственных устоев, Раиса Александровна обрисована Куприным с тою же беспощадностью, что и офицеры.

Образ Шурочки много сложнее и психологически интереснее. На первых страницах повести она производит очень благоприятное впечатление: умная, чуткая, изящная, обладающая хорошим вкусом и тактом, сторонящаяся полковых сплетен и интриг, Александра Петровна кажется существом другого, лучшего круга. Силу и уверенность ей придает тот «идеал» жизни, практи-

ческим осуществлением которого заняты все ее мысли и чувства. Но «идеал» этот ограничен и пошл, и как только читатель понимает его, пропадает все обаяние героини.

Полное же развенчание Шурочки Куприн производит в последней главе повести: ее разоблачает разговор с Ромашовым, когда накануне дуэли она приходит просить его обязательно драться с Николаевым для того, чтобы карьера мужа не подверглась испытаниям, для того, чтобы она, Шурочка, была «всегда прекрасно одетой, красивой, изящной», чтобы ей поклонялись, чтобы она чувствовала свою власть. Смысл ее откровенно эгоистичной речи сводился к тому, что Ромашов должен погибнуть на поединке для мещанского благополучия этой черствой барыньки. Даже наивный, ослепленный своей любовью и своим незнанием людей Ромашов не мог не понять сущности просьбы Шурочки: он «почувствовал, как между ними незримо проползло что-то тайное, гадкое, склизкое, от чего пахнуло холодом на его душу... Стараясь скрыть непонятное, глухое раздражение, он сказал сухо:

«— Ради бога, объяснись прямее. Я все тебе обещаю» (II, 290).

И Александра Петровна, с явной целью обмануть Ромашова, убеждает его, что они с Николаевым непременно должны на следующий день стреляться, что ни один из них не будет ранен, что муж ее знает, что она «все, все, все сделала».

Результат коварной лжи и вероломства Шурочки известен: Николаев смертельно ранил Ромашова. Автор не говорит, нарушил ли Николаев данное Шурочке обещание не ранить Ромашова, или такого обещания и не было. Во всяком случае, весь ход рассуждений Александры Петровны, ее фраза: «Мы не увидимся больше» — все свидетельствует о том, что она сознательно шла на обман Ромашова, на подготовку его убийства во имя своего личного благополучия. И Шурочка, умная, изящная и очаровательная, оказывается чудовищно жестокой, способной на самое низкое предательство. По сравнению с ней даже Нина Зиненко из «Молоха», — в общем близкий к ней образ, — начинает казаться лучше.

Подобно тому, как в образах Осадчего и Бек-Агамалова Куприн помог понять многое в психологии контрреволюционного офицерства времени гражданской войны, так в образе Шурочки он, — также не подозревая, конечно, этого, — показал психологию предшественницы хищных, бессердечных и жестоких женщин из белогвардейской среды, изображенных впоследствии в произведениях А. Н. Толстого и других советских писателей. И вместе с тем сухая, расчетливая и жестокая эгоистка Шурочка встает перед нами как отражение жестокого, эгоистического буржуазного общества в целом.

Иногда приходится слышать мнение, что в «Поединке» не все уже так безнадежно и что в галерее образов, созданных Куприным в этом произведении, есть не только отрицательные, но и положительные. В число последних, кроме Назанского и Ромашова, включают офицеров Рафальского и Стельковского и корпусного генерала, фигурирующего в повести без имени, сперва в разговорах офицеров (гл. X), а затем на смотре (гл. XV).

В лице корпусного генерала Куприн изобразил тогдашнего командующего Киевским военным округом, генерала М. И. Драгомирова: последнему принадлежат известные слова о солдатах — «святая, серая скотинка»,¹⁰ которые произносит в «Поединке» корпусной генерал (II, 197); высказывавшиеся Драгомировым в военно-литературных работах взгляды о «воспитании» в солдате «сознательного бойца» иронически повторяются в «Поединке» капитаном Сливой: «Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение. Суворовцы!» (II, 136).

Однако в литературе, наряду с признанием относительной прогрессивности подобных взглядов Драгомирова, указывается, что он «выдвигал реакционную теорию, заключающуюся в пренебрежении военной техникой. Эта теория отразилась на подготовке царской армии перед 1914 г.»¹¹ В главе XV Куприн отчасти касается и взглядов на военное дело корпусного командира, называя его «чужаковатым боевым генералом» (II, 200).

¹⁰ БСЭ, изд. 1-е, т. 23, стлб. 383. Ср. также: БСЭ, изд. 2-е, т. 15, стр. 161—162.

¹¹ БСЭ, изд. 1-е, т. 23, стлб. 382.

Если корпусной генерал и офицеры Рафальский и Стельковский и представляли в какой-то мере исключение в картине, нарисованной Куприным, то они не меняют общего обличительного тона повести.

Однако ни обличительность, ни мрачность колорита повести не означают пессимистичности «Поединка». Несмотря на гибель Ромашова, на жуткую обстановку офицерской и солдатской жизни, несмотря на торжество Дицев, Петерсонов, Николаевых и им подобных, — остается уверенность, что та самая солдатская масса (Архипов, Гайнан и другие), которая с такой симпатией изображена Куприным, и лучшие офицеры, подобные погибшему Ромашову, способны измениться. И именно глубокой, искренней верой в их способность измениться и продиктованы обличительность и мрачный колорит повести. Однако, стремясь притушить революционное воздействие повести на умы читателей, реакционная критика пыталась представить ее проникнутой идеей обреченности, бесперспективного пессимизма. Реакционеры видели в «Поединке» клевету на армию, проповедь неподчинения властям и т. п. Особенно злобным было выступление генерал-лейтенанта П. А. Гейсмана, поместившего в газете военного министерства «Русский инвалид» большую статью «„Поединок“ г. Куприна и современные фарисеи с точки зрения критики», вышедшую отдельным оттиском.¹²

Ставя появление повести Куприна в зависимость от опубликования книги Бильзе «В маленьком гарнизоне», Гейсман утверждал, что автор «Поединка» «только дает волю тому чувству злобы по отношению к людям военным и ко всему военному вообще, запас которой у него нельзя не признать довольно великим, если не чрезвычайным».¹³ Куприн, — по характеристике генерала-литератора, — «дешевый критик, неосновательный, поверхностный и легкомысленный...» (стр. 11). «Автор „Поединка“», — утверждает Гейсман, — „слышал звон, да не

¹² Русский инвалид, 1905, №№ 180—182 и отд. отт. [СПб., 1905], 29 стр.

¹³ П. А. Гейсман. «Поединок» г. Куприна и современные фарисеи с точки зрения критики, стр. 3. Дальнейшие ссылки делаются в тексте, указывается только страница.

знает, где он“, у него, как говорится, „по усам текло, а в рот не попало“. Достаточно отметить, что он говорит о „механизме“ роты. „Механизм“, состоящий из организмов! Это уж явная нелепость» (стр. 10).

Ругая Куприна, генерал-писатель все же не мог отрицать его литературной одаренности: «Нельзя отказать автору, — пишет П. А. Гейсман, — в наблюдательности и в немалой способности к бытописанию» (стр. 4). В другом месте, признавая, что «способностями г. Куприна бог не обидел», Гейсман выражал сожаление, что автор дает этим способностям «несоответственное направление». По мнению генерала-критика, «описанные в „Поединке“ Раиса Александровна Петерсон, Александра Петровна Николаева, женщины, флирт, адюльтер и т. д. — вот его жанр. Туда, — прибавляет генерал-критик, — и советуем ему направить свое внимание и свои способности. А о войне, военной науке, военном искусстве, военном деле и о военном мире вообще ему лучше не говорить. Для него этот „виноград — зелен“. Картинки писать без объяснений он может, но не более того!» (стр. 29).

Статья Гейсмана, профессора Академии Генерального штаба, представляет интерес только с одной стороны — как реакция именно тех кругов военного ведомства царской России, которые в первую очередь были ответственны за несчастный исход Русско-японской войны, за низкий моральный и «профессиональный» дух офицерства. Военному ведомству нужно было для собственной реабилитации представить как можно в более неблагоприятном и неубедительном свете критику «военного мира» в «Поединке». С этой целью генерал-литератор пытался с помощью брани опорочить и опровергнуть картины военных будней «Поединка».

Чтобы еще больше уронить «Поединок» во мнении своих военных (статья печаталась, напомним, в «Русском инвалиде») и невоенных читателей (на них, очевидно, было рассчитано издание статьи отдельным оттиском), П. А. Гейсман настойчиво проводил мысль, что Куприн явился орудием в руках какого-то «вдохновителя» или целой группы «вдохновителей»; при этом он недвусмысленно давал понять, что такой злокозненной личностью был М. Горький, политическая позиция которого

была к тому времени уже достаточно широко известна.

Не менее характерна в качестве показателя ярости реакционеров против повести Куприна статья А. Басаргина (А. И. Введенского) в одной из самых правых монархических газет того времени — в «Московских ведомостях». Уже одно заглавие ее — «„Литературная“ вылазка против военных»¹⁴ — свидетельствовало о характере статьи. По словам Басаргина, «Поединок» — «нечистоплотнейший, полный неряшливых инсинуаций памфлет», «какой-то непристойный лепет с чужого голоса, — в тон общей тенденции сборников „Знания“... Писание <Куприна>... в сущности есть лишь прикрытая проповедь антимилитаризма, слишком очевидно рассчитанная на то, чтобы смутить и даже, пожалуй, пристыдить иных военных их профессией».

Разъяренный черносотенец упрекал Куприна в разлагающем влиянии на офицерство: «Вся повесть, от начала до конца, есть сплошной памфлет на военных, тенденциозно рассчитанный на понижение в лицах заинтересованных самочувствия <самоуважения?>, — в иных, пожалуй, до готовности решительно порвать со „страной отцов“...».

Подобно Гейсману, А. Басаргин утверждал, что Куприн несамостоятелен, что он — ученик и последователь Горького; идеи Куприна — «подновленный нигилизм», а все направление сборника «Знание» — «плод культурной одичалости».

Нет необходимости останавливаться на статьях других представителей правительственного лагеря, — статьях, написанных в опровержение и в унижение «Поединка». И приведенные материалы показывают, как взбешена и встревожена была реакция резкой и беспощадно правдивой повестью Куприна и как неуклюже пыталась она снизить общественное значение «Поединка».

Стремясь снизить общественную значимость повести Куприна, некоторые реакционеры, чтобы спасти положение, стали утверждать, что «Поединок» — памфлетное изображение какого-то одного определенного полка и

¹⁴ Московские ведомости, 1905, 21 мая, № 137, стр. 3.

что, может быть, отдельные факты и верны, но в целом они не характерны. Эта версия проникла и в заграничную печать и побудила редакцию известной венской либерально-буржуазной газеты «Neue Freie Presse» обратиться к Куприну с просьбой познакомить ее читателей с позицией, с которой писался «Поединок».

В своем ответе, не перепечатававшемся в России, Куприн писал: «Создавая свой роман, я отнюдь не имел перед своими глазами только тот полк, в котором служил. Ни одна конкретная человеческая личность не взята мною оттуда. Все характерные черты и эпизоды из военной жизни, воспроизведенные в романе, взяты мною из всех частей армии, всех родов оружия. И хотя я охотно признаю художественные недочеты своего произведения, еще с большей охотой я готов сознаться, что как роман нравов (Sittenroman) оно вовсе слабо. Страх оказаться тенденциозным, а еще в большей мере жестокость нашей цензуры вынудили меня смягчать краски, так что там, где было набросано большое потрясающее полотно, появилась маленькая бледными красками написанная акварель. Но и это словно чудом могло быть спасено из когтей цензуры».¹⁵

Буржуазно-либеральные критики, под несомненным влиянием революционной обстановки 1905 года, то с большей, то с меньшей степенью приближенности повторяли правильную оценку нового произведения Куприна, данную А. М. Горьким в одном интервью. Горький считал, что идеей «Поединка» является необходимость вхождения лучших, мыслящих офицеров в ряды революционных борцов, так как только в коллективе единомышленников их усилия не останутся бесплодными и безнадежными. По словам репортера, Алексей Максимович выразился так: «Великолепная повесть. Я полагаю, что на всех честных, думающих офицеров она должна произвести неотразимое впечатление. Целью А. Куприна было — приблизить их к людям, показать, что они одиноки <?> от них!.. В самом деле, изолированность наших офицеров — трагическая для них изолированность. Куприн оказал офицерству большую услугу.

¹⁵ Alexander Kuprin. Armée und Revolution in Rußland. — Neue Freie Presse, 1906, 8 September, № 15103, S. 2.

Он помог им до известной степени познать самих себя, свое положение в жизни, всю его ненормальность и трагизм».¹⁶

Насколько был прав Горький в своем истолковании смысла «Поединка», можно заключить из заметки, помещенной одной из газет в 1905 г.: «Группой петербургских офицеров послан сочувственный адрес писателю А. Куприну за мысли, высказанные в повести „Поединок“. В адресе, между прочим, сказано: „Язвы, поражающие современную офицерскую среду, нуждаются не в паллиативном, а в радикальном лечении, которое станет возможным лишь при полном оздоровлении всей русской жизни“. Под адресом имеются подписи более 20 офицеров всех родов оружия».¹⁷ На языке подцензурных изданий 1905 г. «полное оздоровление всей русской жизни» означало революционное переустройство страны.

Но таких откликов было мало, зато реакционное офицерство еще спустя несколько лет отзывалось на повесть Куприна: в 1907 г. двумя изданиями вышла брошюра В. Г. Федорова «По поводу „Поединка“ г. Куприна» (СПб.) и в 1910 в «Военном сборнике» (№№ 1 и 2) была напечатана статья Дрозд-Бонячевского «„Поединок“ Куприна с точки зрения строевого офицера. (Опыт критического анализа)», изданная и отдельно.

В развитии художественного дарования Куприна «Поединок» сыграл заметную роль. После «Молоха» это было его первое большое произведение. Если в «Молохе» был поставлен рабочий вопрос, хотя решался он скорее как проблема этическая, то в «Поединке» Куприн уже со всей отчетливостью касается такой важной в условиях революционного 1905 года политической проблемы, как армия. Критикуя порядки в царской армии, Куприн критиковал тем самым и весь политический строй тогдашней дворянско-буржуазной России, критиковал самодержавие. Это было ясно для многих тогдашних читателей, и именно это вызвало такую озлобленность реакционной печати против «Поединка» и его автора.

¹⁶ Вас. Р е г и н и н. Из беседы с М. Горьким. — Биржевые ведомости, 1905, 22 июня, № 8888; см. также: Биржевые ведомости, 1905, 14 мая, № 8822.

¹⁷ Петербургский листок, 1905, 19 июня, № 155, стр. 2.

В «Поединке» Куприн вырос и как художник: по сравнению с «Молохом» картина, созданная им в новой повести, гораздо значительнее и по охвату действующих лиц, и по степени детальности их обрисовки, и по зрелости и уверенности изображения их психологии, их поступков, их взаимоотношений. Сюжет развивается в «Поединке» глаже, чем в «Молохе», хотя кое-какие моменты неясны и неубедительны.

К числу недочетов «Поединка» надо отнести книжный характер монологов Назанского, Осадчего и отчасти Ромашова. Куприн почувствовал это позднее и, как будет показано ниже, признавал данный недостаток своей повести.

И несмотря на то, что с художественной стороны «Поединок» не безупречен, повесть Куприна заняла видное место как среди произведений, посвященных «военной теме», так и в русской литературе в целом. «Военная тема» в русской литературе имеет большую историю, на которой в настоящей работе нет необходимости останавливаться. Ближайшими предшественниками Куприна, оказавшими на него определенное влияние в понимании психологии офицерства, были В. М. Гаршин («Денщик и офицер», «Четыре дня» и др.) и Чехов («Поцелуй», «Три сестры»). Одновременно с Куприным, в годы Русско-японской войны, выступили с произведениями на те же темы Л. Андреев («Красный смех»), В. Вересаев и др. В свою очередь и «Поединок» Куприна определил на ближайшие несколько лет трактовку военной темы («Бабаев» С. Н. Сергеева-Ценского, «Отступление» Г. Эрстова и др.).

«Поединок» оказался одним из самых общественно значительных произведений Куприна.

В этой повести с исключительной силой отразились общественный подъем накануне и во время революции 1905 года, близость Куприна к М. Горькому и художественная зрелость писателя. Огромный успех «Поединка» выдвинул его создателя в первые ряды тогдашних русских писателей. О Куприне в течение нескольких лет говорили не иначе как об авторе «Поединка». Сравнительно мало замечавшийся критикой, Куприн с тех пор становится одной из центральных фигур тогдашней русской литературы. Вокруг него начинается борьба, бур-

жуазные литературные политики ставят своей целью обезвредить его, лишить нараставшей в нем революционности. Делалось это разными путями — и с помощью льстивой критики, и путем привлечения в разнообразные, не всегда политически чистоплотные издания, и испытанным средством — вовлечением в литературную богему. Одним из важных приемов «обработки» Куприна было отвлечение его от Горького. В 1906—1907 гг. «друзьям» Куприна удается этого добиться, в его письмах и ненапечатанных эпиграммах проскальзывают признаки явного расхождения с великим пролетарским писателем. Чем дальше, тем Куприн становится все менее и менее революционным и, тем самым, более приемлемым для буржуазного литературного потребителя. Могучий талант Куприна создал еще много других произведений, обливающих язвы капиталистического строя, но подняться до той высоты революционного отрицания, с которой писался «Поединок», Куприн уже не мог. В этом сказалось прежде всего то, что он не смог оторваться от своих классовых симпатий, не встал целиком на позиции революционного народа.

Но прежде, чем начался этот процесс постепенного отхода большого писателя от революции, Куприн еще раз обнаружил, чем мог бы он стать, куда могло пойти его развитие как художника-гражданина.

Глава шестая

«СОБЫТИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ»

В письме к Ф. Д. Батюшкову от 28 августа 1904 г., еще до окончания «Поединка», Куприн характеризовал свой роман как «главный — девятый вал», как «последний экзамен». Оценка эта несомненно была правильной: «Поединок» оказался наиболее зрелым и сильным из произведений Куприна того периода, да и не только того периода. Хотя «Яма» имела более шумный успех, была сопровождена «большей прессой», но и по художественным достоинствам и по идейному значению «Поединок» безусловно стоит выше. В «Поединке», дописывавшемся в революционные месяцы 1905 г., сказались с исключительной силой и общественный подъем, и рост политического сознания Куприна, и вдохновляющее влияние Горького.

В течение ближайшего периода Куприн полностью находился в сфере идейного воздействия Горького. Особенно заметно было это во время революционных событий конца 1905 г. Куприн жил тогда в Крыму, в Балаклаве, где написал рассказы «Штабс-капитан Рыбников», «Сны», «Тост» и начал работу над циклом очерков «Листригоны».

Его произведения этого периода проникнуты бодрым, революционным настроением. Оно ощущается в оценке событий Русско-японской войны в «Штабс-капитане Рыбникове» и особенно — в заключительных словах «Снов»:

«Я верю: кончается сон, и идет пробуждение. Мы просыпаемся при свете огненной и кровавой зари. Но это

заря не ночи, а утра. Светлеет небо над нами, утренний ветер шумит в деревьях! Бегут темные ночные призраки. Товарищи! Идет день свободы!

«Вечная слава тем, кто нас будит от кровавых снов.

«Вечная память страдальческим теням» (VIII, 250).

В это время Куприн проявляет исключительную политическую активность: он выступает на студенческих вечерах с чтением наиболее остро звучавших в тогданных условиях отрывков из «Поединка», выставляет свою кандидатуру в выборщики в первую Государственную думу от г. Петербурга, устанавливает связи с революционными матросами Черноморского флота, для чего ежедневно ездит из Балаклавы в Севастополь; в глазах правительственных чиновников он становится фигурой неблагонадежной — за ним устанавливается негласный полицейский надзор. С ним знакомится лейтенант Шмидт, герой революционного броненосца «Очаков», и выражает ему свое восхищение «Поединком».¹ В июле 1905 г. Горький с явным сочувствием писал одному своему корреспонденту: «Куприн на-днях едет на Кавказ, ему охота поступить командиром на „Потемкина“...».²

Из одного печатного признания Куприна в декабре 1905 г. видно, что он внимательно читал статьи Горького «Заметки о мещанстве», печатавшиеся в первой легальной большевистской газете «Новая жизнь». Это значит, что Куприн тогда следил и за большевистской печатью.

В это время он глубоко осмысляет волновавший всех тогдашних передовых писателей вопрос о роли искусства в революционной борьбе. Он приходит к выводу, что только такое искусство прекрасно и правдиво, которое способно пробуждать в людях волю к борьбе, волю к революции, что только то искусство подлинно, которое заражает людей страстью борьбы за свою свободу. Через несколько месяцев, в 1906 г., отвечая на анкету газеты «Свобода и жизнь» об отношении литературы к революции, Куприн написал притчу, которую позднее печатал под заглавием «Искусство».

У одного гениального скульптора спросили:

«—Как согласовать искусство с революцией?»

¹ Ротштейн, стр. 291.

² ИМЛИ, шифр: ПГ—рл 52-3-6.

«Он отдернул занавеску и сказал:

«—Смотрите.

«И показал им мраморную фигуру, которая представляла раба, разрывающего оковы страшными усилиями мышц всего тела.

«И один из глядевших сказал:

«—Как это прекрасно!

«Другой сказал:

«—Как это правдиво!

«Но третий воскликнул:

«—О, я теперь понимаю радость борьбы!».³

В этой короткой и на первый взгляд непритязательной притче Куприн выразил глубокую и верную идею, — что в истинно великих произведениях искусства гармонично сочетается высокая художественность, жизненная правдивость и могучая воспитательная сила. Эта правильная мысль созрела у Куприна как в результате общения с М. Горьким, так, в особенности, в итоге непосредственного наблюдения революционных событий 1905 года и обобщения их смысла. Можно даже предположить, что определенный момент этих событий имел решающее значение в формировании тогдашних революционно-эстетических взглядов Куприна.

15 ноября 1905 г. Куприн был свидетелем жуткой по своей дикости и зверству расправы, учиненной по приказу командовавшего Черноморским флотом вице-адмирала Г. П. Чухнина над матросами восставшего крейсера «Очаков». Под непосредственным впечатлением виденного Куприн сразу же написал в издававшуюся в Петербурге газету «Наша жизнь» подробную корреспонденцию, в которой с исключительной силой и страстностью, с жгучей болью и гневом сообщал русской общественности о новом кровавом преступлении царских прислужников.

Возмущенное чувство человека, негодование писателя-гражданина пронизывает каждую строчку статьи Куприна. Навыки газетного репортера, приобретенные в молодые годы, умение схватывать и точно фиксировать самое основное, самое важное, искусство очеркиста, свободного от ремесленного «фотографизма» и внося-

³ Свобода и жизнь, 1906, 12 ноября, № 15, стр. 13 (анкета редакции на тему «Революция и литература»).

шего, по словам Горького, «много от себя», от своих переживаний, своих размышлений, уверенное мастерство зрелого писателя помогли Куприну найти нужные слова и формулировки, найти единственно необходимый для такой статьи тон — тон беспощадного, яростного разоблачения, смешанного порою с горьким сарказмом. Вот как начинается статья Куприна:

«Ночь 15 ноября. Не буду говорить о подробностях, предшествовавших тому костру из человеческого мяса, которым адмирал Чухнин увековечил свое имя во всемирной истории. Они известны из газет; вкратце: — матросский митинг, выстрелы в Писаревского и одного пехотного офицера, отложение экипажей от армии, присяга и измена брестцев, Шмидт поднимает на „Очакове“ сигнал: „Командую Черноморским флотом“, великолепно безукоризненное поведение матросов по отношению к жителям Севастополя и, наконец, первые предательские выстрелы с батареей в барку, подходившую к „Очакову“ с провиантом. Но должен оговориться. Длинная, по-жандармски бессмысленная статья о финале этой беспримерной трагедии, помещенная в „Крымском вестнике“, набиралась и печаталась под взведенными курками ружей. Я не смею судить редактора г. Спиро за то, что в нем нехватило мужества предпочесть смерть насилию над словом. Для героизма есть тоже свои ступени. Но лучше бы он попросил авторов, адъютантов из штаба Чухнина, подписаться под этой статьей. Путь верный: подпись льстит авторскому самолюбию».⁴

Описывая свою поездку из Балаклавы в Севастополь, «в город, объятый пламенем революции», откуда, «одуревшие от ужаса», бежали жители, Куприн делает точные, сжатые зарисовки:

«Вскоре стемнело. Нам навстречу непрерывно ехали коляски, дроги, телеги. Чувствовалась уже за 15 верст паника. На экипажах навалена всяческая рухлядь, собранная кое-как впопыхах. В этом было много жуткого. Точно кошмарный обрывок из картины переселения народов, гонимых страхом смерти. Сцеплялись колеса с ко-

⁴ А. И. Куприн. Затерянные и несобранные произведения, стр. 234. Дальнейшие ссылки даются в тексте, указывается только страница.

лесами, люди ругались с озлоблением, со стучащими зубами. Ни у кого не было огней. Наступила ночь. Справа от нас над горизонтом по черному небу двигались беспрерывно прямые, белые лучи прожекторов, точно световые щупальцы...

«Дорога к Севастополю идет в гору. Когда мы поднялись на нее, то увидели огромный дым от огромного пожара. Весь город был залит электрическим светом прожекторов, и в этом мертвом, голубоватом свете клубы дыма казались белыми, круглыми и неподвижными. Город точно умер. Встречались только отряды солдат» (стр. 235).

Совершенно естественно, что Куприн со своим спутником прежде всего поспешили посмотреть пожар «Очакова».

«Отправились на Приморский бульвар, расположенный вдоль бухты. Против ожидания, туда пускали свободно, чуть ли не предупредительно. Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на фоке» (стр. 235).

Далее следуют страницы, которые нельзя ни сокращать, ни излагать своими словами, страницы, которые показывают нам Куприна на высшей точке его политического развития в эти годы, показывают в качестве гневного обвинителя старой монархической России:

«Я должен говорить о себе. Мне приходилось в моей жизни видеть потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти не забуду я этой черной воды и этого громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека. Нет, пусть никто не подумает, что адмирал Чухнин рисуется здесь в кровавом свете пожара, как демонический образ. Он просто чувствовал себя безнаказанным.

«Великое спасибо Горькому за его статьи о мещанстве. Такие вещи помогают сразу определяться в событиях.

«Вдоль каменного парапета Приморского бульвара густо стояли жадные до зрелищ мещане.

«И это сказалось с беспощадной ясностью в тот мо-

мент, когда среди них раздался тревожный, взволнованный шепот:

«— Да тише, вы! Там кричат!

«И стало тихо, до ужаса тихо. Тогда мы услышали, что оттуда, среди мрака и тишины ночи, несется протяжный высокий крик:

«— Бра-а-тцы!..

«И еще, и еще раз. Вспыхивали снопы пламени, и мы опять видели четкие, черные фигуры людей.

«Стала лопаться раскаленная броня с ее стальными заклепками. Это было похоже на ряд частых выстрелов. Каждый раз при этом любопытные мещане бросались бежать. Но, успокоившись, возвращались снова.

«Пришли солдаты, маленькие, серенькие, жалкие — литовский полк. В них не было никакой воинственности. Кто-то из нас сказал корявому солдату:

«— Ведь это, голубчик, люди горят.

«Но он глядел на огонь и лепетал трясущимися губами:

«— Господи, боже мой, господи, боже мой...

«И было в них во всех заметно темное, животное, напуганное влечение прижаться к кому-нибудь сильному, знающему, кто помог бы им разобраться в этом ужасе и крови.

«И вот, и к ним, и к нам подходит офицер, большой, упитанный, жирный человек. В его тоне молодцеватость, но что-то заискивающее. Это все происходит среди тревожной ночи, освещенной электрическим светом прожекторов и пламенем умирающего корабля.

«— Это еще что-о, братцы! А вот когда дойдет до носа — там у них кают-камера, это где порох сложен — вот тогда здорово бабахнет!

«Но в ответ — ни обычной шутки, ни подобострастного слова. Солдаты повернулись к нему спиной.

«А гигантский трехтрубный крейсер горит. И опять этот страшный, безвестный, далекий крик:

«— Бра-а-тцы!..

«И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразишь на человеческом языке, крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвавшийся крик. Это все оттуда. Тогда некоторые из нас кинулись на Графскую пристань к лодкам.

И вот теперь-то я перехожу к героической жестокости адмирала Чухнина.

«На Графской пристани, где обыкновенно сосредоточены несколько сотен частных и общественных яликов, стояли матросы, сборная команда с „Ростислава“, „Трех святителей“, „12 Апостолов“ — надежный сброд. На просьбу дать ялики для спасения людей, которым грозили огонь и вода, они отвечали гнусными ругательствами: начали стрелять. Им заранее приказано было прекратить всякую попытку к спасению бунтовщиков. Что бы ни писал потом адмирал Чухнин, падкий на литературу, — эта бессмысленная жестокость остается фактом, подтвердить который не откажутся, вероятно, сотни свидетелей.

«А крейсер беззвучно горел, бросая кровавые пятна на черную воду. Больше криков уже не было, хотя мы еще видели людей на носу и на башне.

«Тут в толпе многое узналось. О том, что в начале пожара предлагали „Очакову“ шлюпки, но что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от „Очакова“, стреляли картечью. Что бросавшихся вплавь расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками. Последнему я не верю: солдаты были слишком потрясены, чтобы сделать и эту подлость.

«Опять лопается броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности, неудовлетворенная, невозможная месть. Мы уезжаем. Крейсер горит до утра.

«По официальным сведениям — две или три жертвы. Хорошо пишет литературный адмирал Чухнин.

«О травле жидов, социал-демократов, которая поднялась назавтра и которая — это надо сказать без обиняков — исходит от победоносного блестящего русского офицерства, исходит вплоть до призыва к погрому, — скажу в следующем письме...

«Настроение солдат подавленное. Хотелось бы думать — покаянное» (стр. 236—238).

Обещанная в конце корреспонденции вторая статья Куприным не была напечатана.

Описывая события в Севастополе, Куприн создал не только бесспорно лучшее свое публицистическое произ-

ведение, не только одну из наиболее сильных политических статей в русской печати 1905 г., но и важный, исторически точный документ, имеющий серьезную научную ценность.

Появление статьи Куприна вызвало сильное негодование в правительственных кругах, номер газеты был конфискован, а через некоторое время, когда отдельные экземпляры «Нашей жизни» с корреспонденцией Куприна попали к адмиралу Чухнину, последний возбудил против писателя судебное преследование, предварительно распорядившись выслать его в 24 часа из пределов Севастопольского градоначальства. Сперва Чухнин подал на Куприна в суд в Симферополе, обвиняя его в клевете, а через некоторое время перенес дело в Петербургский окружной суд, изменив формулировку обвинения и утверждая теперь, что Куприн писал свою корреспонденцию с целью возбуждения в населении ненависти к нему, Чухнину, как представителю правительственной власти. Ввиду обилия дел, связанных с революционными событиями конца 1905—начала 1906 г., иск Чухнина был рассмотрен лишь через три года (когда истец уже умер), и писатель был присужден заочно (он находился в это время в Житомире) к денежному штрафу с заменой домашним арестом, который Куприн и отсидел.

Статья «События в Севастополе» была запрещена не только в газете «Наша жизнь»: в 1907 г. она была включена в «Историко-революционный календарь» издательства «Шиповник» и снова подверглась цензурному преследованию.⁵ Советскому читателю она стала доступна только в 1939 г., когда ее перепечатал в журнале «Резец» (№ 15—16) В. Ф. Боцяновский. В предисловии к этой перепечатке В. Ф. Боцяновский привел два факта, показательных для общественно-политической позиции Куприна в то время. Оказывается, Куприн не ограничился ролью простого наблюдателя севастопольской бойни или только литературного изобличителя нового преступления царизма, — он принял живейшее участие в судьбе немногих матросов, спасшихся бегством вплавь с обстреливаемого и горящего «Очакова». Куприн помог им укрыться в безопасном месте неподалеку от Балаклавы в имении

⁵ Перепечатывалась она и в начале революции 1917 г.

двух пользовавшихся репутацией передовых людей крымских землевладельцев (композитора и журналиста П. И. Бларамберга и А. К. Врангеля). Куприн явился к этим незнакомым ему лицам и получил их согласие на предоставление приюта переодетым в штатское платье матросам под видом рабочих, нанятых для перекопки винограда. Благодаря Куприну матросы со своей конспиративной квартиры были на глазах полиции благополучно доставлены в подготовленные им убежища. Этот факт отражен Куприным в написанном в 1917 г. рассказе «Гусеница».

Второй, связанный с этим же моментом факт заключался в том, что 4 декабря 1905 г. Куприн выступил в Севастополе с чтением отрывка из незадолго до этого вышедшего «Поединка» на благотворительном вечере, устроенном — по официальной версии — в пользу бедных студентов, а на самом деле в пользу революционных организаций. Прочтенный Куприным отрывок, изображавший в особенно мрачном виде офицерство, произвел на присутствовавших, воспринимавших слушанное на фоне недавних севастопольских событий, сильное впечатление. Часть публики устроила автору бурную овацию, а другая — демонстративно с выражением своего негодования покинула зал.

Можно не сомневаться, что даже такие поступки Куприна, как корреспонденция в «Нашей жизни», помощь матросам, выступление на вечере в пользу революционных организаций, вызванные могучим общественным подъемом, не обошлись без оглядки на Горького. Куприн в своей статье указывает этот важный источник, объясняющий его поведение. «Великое спасибо Горькому за его статьи о мещанстве, — писал Куприн, имея в виду «Заметки о мещанстве», печатавшиеся в «Новой жизни» в октябре—ноябре 1905 г. — Такие вещи, — продолжает Куприн, — помогают сразу определяться в событиях». Таким образом, не только «Поединок», в котором, по известным нам словам Куприна, «все смелое и буйное» принадлежало Горькому, но и самое сильное в общественно-политическом отношении публицистическое произведение Куприна — «События в Севастополе» — было создано под влиянием Горького.

Особенно важна формулировка: «Такие вещи помогают сразу определяться в событиях». Эта фраза означает, что перед нами явный факт идейного, политически воспитательного воздействия революционного пролетарского писателя Горького на писателя-демократа, писателя, хотя и сочувствующего освободительному движению, но не привыкшего разбираться и тем более правильно разбираться в политической обстановке.

Признание Куприна важно еще и потому, что оно отражает наивысший момент приближения писателя-демократа к писателю-революционеру.

В январе 1906 г., в № 2 сатирического журнала «Сигналы», был опубликован фантастический рассказ Куприна «Тост». Это одна из утопий, до которых так охочи были читатели и писатели конца XIX и начала XX в. Действие в «Тосте» происходит в 2906 г., т. е. ровно через тысячу лет после написания рассказа Куприна: все национальные, расовые и социальные перегородки разрушены, наступила полная творческой радости, гармоничная, безоблачная жизнь. На торжественном празднике председатель предлагает тост в память тех «нетерпеливых, гордых людей, героев с пламенными душами», которые за 1000 лет до праздника, в 1905 г., «обагрjali своей праведной горячей кровью плиты тротуаров», «сходили с ума в каменных мешках», «умирали на виселицах и под расстрелом», «отрекались добровольно от всех радостей жизни, кроме одной радости — умереть за свободную жизнь грядущего человечества». Этот гимн революционным борцам 1905 г. завершается так: «И все выпили молча. Но женщина необычайной красоты, сидевшая рядом с оратором, вдруг прижалась к его груди и беззвучно заплакала. И на вопрос его о причине слез она ответила едва слышно: — А все-таки... как бы я хотела жить в то время... с ними... с ними...» (VI, 298—299).

Рассказ этот является исключительно ценным документом политических если не убеждений, то настроений Куприна. Будущее общество, «общество 2906 г.», представляется ему не как общество социалистическое или коммунистическое, а как «всемирный анархический союз свободных людей» (VI, 294). Автор «Поединка» и «Событий в Севастополе», предчувствовавший революцию и

воспевший революционеров, не в состоянии был правильно разобраться в том, кто из «нетерпеливых, гордых людей, героев с пламенными душами» является настоящим революционером и во имя чего борются эти «священные безумцы». Реплика «женщины необычайной красоты» из рассказа «Тост» двусмысленна: она — при желании, субъективно — может быть понята как гимн красоте революционного подвига, который и через тысячу лет способен потрясти тонкую, впечатлительную душу людей нового мира. Но объективно эта реплика означает, что общество будущего «всемирного анархического союза свободных людей» своим скучным благополучием, своим уничтожением всех жизненных противоречий подавляет чутких, неудовлетворенных людей, иными словами, что «счастье» будущего общества способно дать удовлетворение только людям с грубой, примитивной душевной организацией, и, следовательно, спорно, стоит ли бороться за такое будущее.⁶

И это было написано почти одновременно с «Событиями в Севастополе» и притчей «Искусство»!

Рассказ «Тост» и упомянутая статья в венской газете «Neue Freie Presse» — «Армия и революция в России», — где автор говорил о «страхе быть тенденциозным» и выражал надежду на то, что царское правительство политикой уступок предотвратит революцию, свидетельствовали о вопиющих противоречиях в идейно-политических и художественных взглядах Куприна уже в это время.

⁶ Дальнейшим развитием этих взглядов явился рассказ «Королевский парк» (1911), в котором изображается человеческое общество через несколько столетий. Указав, что люди тогда добились даже 4-часового рабочего дня, Куприн прибавлял: «По правде сказать, все это было довольно скучно». М. С. Ольминский в «Правде» (1912, 1 сентября, № 106, статья «Между делом») справедливо писал, что «Куприн издевается над рабочими идеалами».

Глава седьмая

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУПРИНА ПОСЛЕ «ПОЕДИНКА» И «СОБЫТИЙ В СЕВАСТОПОЛЕ». — ОТХОД ОТ ГОРЬКОГО

В начале девятисотых годов А. И. Куприн познакомился с редактором журнала «Мир божий», критиком Ф. Д. Батюшковым, с которым позднее очень сблизился и подружился. В жизни Куприна дружба эта сыграла важную роль.

Внучатный племянник поэта К. Н. Батюшкова, Ф. Д. Батюшков был старше Куприна на 13—14 лет. По окончании Петербургского университета он был оставлен для подготовки к профессорскому званию, дважды был в научных командировках за границей, основательно изучил средневековые европейские литературы и долгое время был приват-доцентом Петербургского университета (1885—1898). Не являясь последователем Александра Веселовского, недружелюбно встретившего его магистерскую диссертацию, Батюшков вынужден был покинуть университет и заняться литературно-критической работой. Он был видным и знающим буржуазно-либеральным критиком конца XIX—начала XX в. Сторонник культурно-исторического направления в литературной науке и критике, Батюшков в период господства декадентства и всяких мистических увлечений проводил здравую мысль, что «в искусстве настоящий реализм не может быть упразднен». М. Горький уважал Ф. Д. Батюшкова и был с ним в переписке.

Батюшков был обеспеченным человеком, владел имением в Устюженском уезде и, подружившись с Куприным,

часто приходил ему на помощь, которая очень нужна была писателю в годы, предшествовавшие его широкому признанию. В имении Батюшкова Даниловском Куприн, начиная с 1906 г., жил довольно часто. У них возникла оживленная переписка, к сожалению, сохранившаяся только в одной части — в настоящее время известно около 150 писем Куприна к Батюшкову; из писем Батюшкова к Куприну обнаружено очень немного.

Иногда Куприн писал Батюшкову даже ежедневно, наряду с коротенькими записками и телеграммами встречаются письма очень подробные, содержащие много интересных и ценных материалов. Как выразился Куприн в письме к Батюшкову от 24 июля 1910 г., в своих письмах он сообщал своему другу «все, что просится под перо».

Письма Куприна к Батюшкову, вместе с его произведениями и многочисленными беседами с ним газетных репортеров (не всегда точными: «Репортеры врут, как зеленые лошади», — жаловался он в письме от 6 марта 1910 г.),¹ дают возможность более или менее точно восстановить личную и литературную биографию писателя в период 1906—1911 гг.

В истории творческого развития Куприна 1906 и 1907 гг. имели чрезвычайно большое значение. 1905 год, как было показано выше, пробудил в Куприне политические интересы. Участие писателя в общественной жизни бурного революционного года могло решительно повлиять на характер его дальнейшего творчества, на формирование его мировоззрения. Но были во взглядах Куприна и другие тенденции, — индивидуалистические, анархические, — которые зародились в нем еще в годы офицерства и последующего скитальчества и которые препятствовали правильному его развитию. 1906 и 1907 гг. как раз и были тем периодом, когда в сознании и творчестве Куприна боролись революционное и индивидуалистическое начала.

Он продолжает выступать с чтением своих произведений на литературных вечерах, организованных в пользу пострадавших от неурожая и для сбора средств на

¹ Эта жалоба не относится к интервью, которые Куприн давал Вас. Регинину, своему близкому другу в те годы.

открытие столовых для рабочих; читает на литературном вечере, посвященном 30-летию со дня смерти Некрасова, стихи поэта; пишет упомянутую выше притчу «Искусство», в которой проводит мысль о возможности и необходимости соединения искусства и революции; пишет рассказ «Обида», в котором в парадоксальной форме выступления председателя делегации воров разоблачается подлая роль царской полиции в организации еврейских погромов; он создает одно из сильнейших своих произведений «Река жизни», где на фоне пошлого, грязного быта низко-разрядных номеров «Сербия» раскрывается душевная драма «молодого поколения предыдущего, переходного времени», «подлого времени, времени молчания и нищенства, благоденственного и мирного жития под безмолвной сению благочестивой реакции» (I, 317).

В это время и в своих печатных произведениях и в не предназначенных для печати частных письмах Куприн резко осуждает буржуазную интеллигенцию, особенно кадетов, их лидеров — Милюкова и Родичева. «Исполняются мои пророчества», — писал Куприн летом 1906 г. Ф. Д. Батюшкову из деревни во время крестьянских волнений. И, иронически цитируя эпитеты, дававшиеся русскому народу кадетскими публицистами на столбцах газет, Куприн продолжал: «Добрый, старый, верный, патриархальный русский народ начал говорить свое слово в истории без разрешения Родичева».

К деятельности Государственной думы, на которую так много надежд возлагали буржуазные интеллигенты, Куприн относился скептически и презрительно. В марте 1907 г. на страницах иллюстрированного приложения к газете «Русь» он помещает две остро политические «Сказочки», не включавшиеся затем в собрания его сочинений. «Сказочки» эти, «приноровленные», как гласит подзаголовок, «детьми для родителей», называются «О думе» и «О конституции». Вот они.

I. О думе

«Раз был праздник. Благородные дети играли в песочек. И все у них шло хорошо, и сами они были такие умные, и костюмчики на них нарядные, и ручки чистенькие. Вдруг приходит уличный мальчишка: волосы сосуль-

ками, рыжие, нос вверх ноздрями смотрит, босой да корявый. И гнусит:

«— Прими-ите в игру-у.

«Благородные дети ему и говорят:

«— Нет, нет, уходи. Ты нас еще гадким словам научишь.

«— Ей богу, не научу. Вот лопни глаза... Прими-ите.

«— Нет, нет, уходи. У тебя коклюш и дифтерит.. Нам мама не велит с тобой водиться.

«— Да она не узнает. Ей богу. А я вас научу гнезда разорять. И я еще умею муравьев рыть... И лягушек надувать умею соломинкой.

«— Ну? А не врешь?

«— Ей богу.

«И приняли его благородные мальчики в игру. А он взял да нарочно всем и напакостил. Одному благородному ребенку крапивы в панталончики натолкал, другому синяк подставил под глазом, а самого главного генеральского ребенка завел в лужу, да там и посадил и оставил сидеть. А потом всех выбранил дурными словами и убежал.

«Прибежали на их крик родители и очень разгневались. Всех благородных мальчиков по домам развели и по пустым комнатам рассажали. А про уличного мальчишку сказали:

«— Ладно! Попадись ты в другой раз!

«А он стоит за забором, кажет язык, вертит кукиш и дразнится:

— Не боюсь никого
Кроме бога одного...

«Это все, милые родители, присказка. Сказка еще впереди».²

Итак, Дума — это пустая игра «благородных мальчиков» — буржуазии, дворянства, а «уличный мальчишка, босой да корявый», испортивший эту игру, — народ, который «не боится ничего». Это не «добрый, старый, верный и т. д. народ» кадетской публицистики, а народ, который «начал говорить свое слово в истории без разрешения Родичева».

² Русь. Иллюстрированное приложение. 1907, 20 марта, № 12, стр. 207.

В том же 1907 г. на вопрос газетного репортера, какого он мнения о Государственной думе, «о нашем парламенте», Куприн ответил:

— Признаюсь откровенно, сам не знаю почему, но он представляется мне в виде дрессированной собачки с камфоркой на голове.³

Еще злее «сказочки» «О Думе» вторая — «О конституции».

II. О конституции

«Жил-был мальчик. И жила-была большая дворовая собака. Она жила в конуре на цепи. Она была добрая, предобрая, но голодная. И мальчик ее все дразнил.

«Вот он раз однажды привязал на длинную веревку кусок жирной говядины. Потом подошел к конуре и спрашивает:

«— Бабачка, а бабачка, хочешь ньям-нюм?»

«— Гав!

«— Очень хочешь?»

«— Гав, гав!

«Тогда мальчик кинул ей мясо. Тогда собака хам! — и проглотила мясо. А мальчик взял за конец веревку и вытащил мясо назад. И опять спрашивает:

«— Бабачка, а бабачка, хочешь кушать?»

«— Гав! гав! гав!

«Он опять ей кинул мясо, собака опять проглотила, а он опять взял да вытащил назад. И опять спрашивает:

«— Бабачка, говядинки хочешь?»

«Тогда собака рассердилась. Кинулась, оборвала цепь и разорвала на мальчике новые штанишки сверху до низу. Мальчик убежал, а собака взяла да и съела все мясо, и с веревкой.

«Заплакал мальчик горькими слезами. Стал жаловаться папе-маме, дяде-тетя. А папа-мама, дядя-тетя и говорят:

«— А ты бы не дразнил собаку. Она голодная. Теперь вот ее и на цепь не посадишь».⁴

³ Whist. А. И. Куприн. (Из беседы с писателем. — Петербургская газета, 1907, 21 ноября, № 320, стр. 3.

⁴ Русь. Иллюстрированное приложение, 1907, 30 марта, № 13, стр. 217—218.

В этих «сказочках» Куприн явно продолжил традиции сатирических политических сказок Салтыкова-Щедрина.

В том же 1907 г. он напечатал в сатирическом журнале «Серый волк» (№ 3) рассказ «Механическое правосудие», представляющий гротескную сатиру на царскую школу и ее уродливую педагогическую систему.

Таким образом, в эти годы Куприн во многом выступает еще как прогрессивный писатель, находящийся под благотворным влиянием М. Горького, под влиянием революционного подъема 1905—1906 гг.

Однако в это же самое время в его творчестве и особенно в письмах усиливаются прежние анархически-индивидуалистические настроения, пронизывающие речи Назанского и мысли Ромашова в «Поединке», проявившиеся в рассказе «Вечерний гость» (1904) и др.

В письме к Ф. Д. Батюшкову (июнь 1906 г.) Куприн писал: «Теперь о нашей полемике. Может быть, я неверно выразился, употребив слово „власть“. У меня не было другого слова. Я думал о власти, радостно приемлемой всем миром, о власти вдохновения, изобретательности, глубокой мысли, тонкого искусства, красоты, смелости и самоотверженности в труде и в науке. Это власть того прекрасного будущего, о котором мечтаем мы, анархисты-философы, индивидуалисты-аристократы. Если же большинство, чернь хочет быть только сытой и носить прочные сапоги, то, конечно, мы дадим их ей. Но раньше, главнее и в сто раз необходимее возвеличить личность и ее (мною уже упомянутую) власть. Я говорю коротко, но, если Вы находите, что я себе противоречу, я могу эту мысль расширить до величины целого тома».

Противопоставляя «личность» «черни» и полагая, что это — философия, которая дает ему право гордо заявлять: «мы, анархисты-философы, индивидуалисты-анархисты», — Куприн обнаруживал только свою полную неосведомленность в истории философии, в том, как марксистская философия решает вопрос о свободе личности в будущем, коммунистическом обществе.

За громкими фразами о «власти личности» у Куприна скрывался грубый эгоизм. Об этом прямо сказано в письме к Батюшкову 8 января 1907 г.:

«Не пиши мне больше о „Я“. Ты меня только сбиваешь с толку. У тебя это „я“ все время сбивается на

общественное благо, на мировую душу, на идею о справедливости, — а в этих границах мое „Я“ чувствует себя так же, как прошлогодний клоп, иссохший между двумя досками.

«Мое „Я“ требует полного расширения всего богатства моих чувств и мыслей, хотя бы самых порочных, жестоких и совершенно неприятных в обществе. „Я“ же Каменского заключается в том, что все позволено и стало быть можно для личного удобства или сочного куска беф-штекса ограбить, оклеветать и сморкнуться тайно в чужой платок. Вот две ступеньки, градации разных „я“. Победит первое и победит — кроме крайних случаев — вовсе не во вред, а в пользу человечеству. Но этим не надо задаваться — оно само собою выйдет».

В цитированном отрывке обращает на себя внимание то, что Куприн с полной серьезностью говорит о двух ступеньках, градациях разных «я», что требование «полного расширения» всех без исключения своих чувств и мыслей, «хотя бы самых порочных, жестоких и совершенно неприятных в обществе», он противопоставляет «теории» А. Каменского, что «все позволено».

Многое из сказанного Куприным в этом письме проливает свет на ряд его поступков, скандализовавших его современников в 1909—1912 гг.

Но в 1907 г. Куприн еще только «теоретически» обосновывал свое понимание «свободы личности». К признакам «свободной личности» он относил и «независимость» от каких-либо политических партий.

К концу 1907 г. Куприн в ряде интервью, писем и литературных выступлений настойчиво подчеркивает свою аполитичность. В ноябре 1907 г. он заявил газетному репортеру, что очень мало интересуется политикой. Несколько позднее в очерках «Немножко Финляндии» Куприн обронил неслучайную для него фразу: «Я совершенно чужд политике и никогда не хотел бы быть в роли предсказателя или устроителя судеб народов» (VII, 179).

Вероятно, с этих аполитичных, анархически-индивидуалистических позиций задумывает Куприн фельетон «О чуде». «Здесь, — писал он Батюшкову 8 октября 1907 г., — будет Гапон, Шмидт, Хрусталь-Носаревский <т. е. Хрусталеv-Носарь>, революция, Каменский, Стенька

Разин, Верховенский, Гершуни, Блок, Гофман, Белый, героизм, индивидуализм».

Хотя Куприн назвал задуманное произведение фельетоном, он, повидимому, имел в виду не единичный фельетон для какой-либо газеты, а фельетон-роман, в котором должны были фигурировать и политические деятели 1905 г. — священник Гапон, лейтенант Шмидт, авантюрист Хрусталеv-Носарь, эсер Гершуни, — и исторические и литературные персонажи — Стенька Разин и герой «Бесов» Достоевского, Верховенский, — и писатели и поэты тех лет — Анатолий Каменский, А. Блок, Виктор Гофман, Андрей Белый.

Но замысел этот остался неосуществленным.

Характерно, после цитированной выше программы фельетона «О чуде» Куприн в том же письме замечает: «Но теперь я уже не могу писать ради того, чтобы опорожниться от мыслей. Надо знать заранее, куда поместить эффектно и выгодно...». В этой заботе об эффекте и выгоде сказываются уже результаты «обработки» Куприна реакционным буржуазным окружением.

Говоря о влиянии реакционного буржуазного окружения на Куприна, прежде всего следует иметь в виду стремление этого окружения отдалить писателя от М. Горького, опорочить в глазах Куприна его идейную и художественную близость к великому художнику пролетариата. По поводу рассказа «Обида» одно близкое Куприну лицо писало Ф. Д. Батюшкову: «К сожалению, первый рассказ мне очень не нравится. — Он не оригинален. — В нем видно влияние Горького, а это мне очень не по сердцу».

Относительно «Реки жизни» это же лицо писало: «У него <Куприна> готов и второй, но мне бы очень хотелось, чтобы он как-нибудь повытравил из него горьковский дух, прежде чем посылать куда-нибудь».

В буржуазно-либеральной прессе появляются статьи, в которых проводится мысль о творческой независимости Куприна от Горького и о том, что произведения его, написанные после «Поединка», стоят выше этой повести. Подобные взгляды встречают сочувствие у Куприна; так, по поводу статьи буржуазного критика Е. В. Аничкова в символистских «Весах» (1907, № 2) Куприн писал: «Он очень умно, ловко и по-дружески отцепил меня от

«Поединка», к которому меня ни с того ни сего хотят притачать навеки веков» (письмо от 5 мая 1907 г.).

Сначала в письмах, а затем и в литературном творчестве у Куприна появляются мелкие, плоские выходки против Горького.

Так, в письме к Батюшкову от 2 октября 1906 г. Куприн сообщал: «Будет еще поэма: Путешествие русского за границу. Конечно, о Горьком», — и далее следовало четыре недостойных стиха.

Месяца через два, получив декабрьскую книжку «Мира божьего», Куприн с брюзжанием писал Батюшкову: «Зачем насажали какого-то Подвального (М. Горький, Анкудин Прокислый, Сергей Дохлый, Андрей Чердачный и т. д.)».

Повидимому, к этому же времени относится грубая пародия Куприна на Горького «Дружочки», впоследствии постоянно включавшаяся им в собрание сочинений.

Куприн, еще недавно благодаривший Горького за помощь в работе над «Поединком» и за его статьи о мещанстве, помогающие определиться в событиях, посвятивший ему «Поединок» и писавший «в горьковском духе», все больше и больше отдаляется от писателя-революционера, все больше и больше становится приемлемым для буржуазного читателя «позорного десятилетия русской литературы», как назвал 1907—1916 гг. М. Горький.

Отход Куприна от Горького во многом зависел от непонимания Куприным исторической роли рабочего класса, с которым после середины 90-х годов ему не пришлось больше общаться и революционную деятельность которого в 1905 г. он воспринимал как своеобразное продолжение «бунтов» предшествующего десятилетия; имели значение и сложившийся у него к этому времени жизненный уклад и активное воздействие на писателя усилившейся в эти годы реакции.

Постепенный отход Куприна от М. Горького, усугубленный отъездом последнего за границу, заметно сказался на идейной глубине произведений автора «Поединка». Но писатель-реалист Куприн остался верен своему жизнелюбию, резко отличавшему его от декадентов-мистиков и всяческих прославителей смерти, задававших тон в буржуазной литературе 1907—1910 гг. Куприн

попрежнему неумно, страстно, язычески любит жизнь, любит человека, его мощь и дерзание, но преклонение перед человеческим гением, перед его могуществом лишено перспективы и не имеет того целеустремленного, того сознательного характера, которым отличалось творчество Куприна в предшествующие годы. Основная идея притчи «Искусство» остается нереализованной.

Все же и в этот период он создает одно за другим произведения, проникнутые бодростью, свежестью, тонким лукавым юмором и превосходным знанием быта. Язык его повестей, рассказов и очерков достигает полной зрелости и силы. М. Горький, очень внимательно следивший за ростом художественного мастерства Куприна, несмотря на его уход из сборников «Знания» и на отчетливо обозначившееся расхождение обоих писателей, высоко ценил его язык: «Возьмите язык Куприна до „Поединка“ и после, — писал Горький К. А. Треневу в ноябре—декабре 1911 г., советуя ему учиться языку у Лескова, Тургенева и Чехова, — вы увидите, в чем дело и как вышеназванные писатели хорошо учат нас».⁵

Глубокий интерес к творчеству Куприна проявляет и престарелый Л. Н. Толстой, уже давно обративший внимание на «офицера Куприна» и неоднократно высказывавшийся по поводу произведений последнего, его литературной манеры, его знания жизни. «Куприн не тужится и ничего не сочиняет, а, как бывало Чехов, возьмет перед вашими глазами уголок жизни и нарисует такую картину, что вы засмотритесь и задумаетесь».⁶

Авторитетная оценка Толстого не в малой степени способствовала упрочению известности Куприна, как и положительный отзыв Горького о «Поединке».

В 1907 г. возник даже вопрос об избрании Куприна почетным академиком по разряду изящной словесности, но по каким-то причинам избрание не состоялось. Любопытно, что сам Куприн в это время, — правда, в письме к своему близкому другу, Ф. Д. Батюшкову, — считает свое возможное избрание вполне законным: «По-

⁵ М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., т. 29, стр. 212.

⁶ Ср. также: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, М., 1921—1922, т. I, стр. 235, 271—272, 303, 305; т. II, стр. 14, 59, 175.

четным академиком я быть не прочь. И для Академии это было бы выгодно в виду предыдущих отказов. А что же? После Чехова по языку «дважды подчеркнуто Куприным» я один и имею на это право» (письмо от 8 октября 1907 г.).

Приведенный отрывок заслуживает внимания во многих отношениях: показательно, что Куприн был готов выставить свою кандидатуру после того, как из состава почетных академиков ушли Чехов и Короленко, возмущенные тем, что Николай II отверг кандидатуру М. Горького, и после того, как ряд других прогрессивных писателей не соглашался вступить на места выбывших. Очевидно, что считавший себя «аполитичным» Куприн не находил нужным своим отказом присоединиться к протесту против позорного «случая с Горьким». А за несколько лет до этого Куприн писал А. П. Чехову: «Большое впечатление произвело в Петербурге Ваше письмо в Академию. О нем нет разногласия: все единодушно находят его чрезвычайно сдержанным и очень сильным. На-днях в одном обществе, где был и Боборыкин,⁷ это письмо читали вслух. Маститый романист, говорят, чувствовал себя при этом не совсем ловко» (письмо от 6 декабря 1902 г.).

Говоря, что после Чехова по языку он один и имеет право на избрание в почетные академики, Куприн забыл — или, может быть, не хотел признать — что рядом с ним существовал великий мастер русского языка М. Горький. Если даже допустить, что Куприн имел в виду невозможность вторичного выдвижения кандидатуры М. Горького, бывшего уже в то время политическим эмигрантом, то все же нельзя не признать, что слова «один и имею на это право» звучат, по меньшей мере, нескромно.

Хотя избрание и не состоялось, однако Академия выразила свое отношение к Куприну в другой форме — ему была присуждена полная Пушкинская премия, а отзыв почетного академика К. К. Арсеньева был опубликован в академическом издании. В этом отзыве Арсеньев, отражая мнение академических кругов, говорил: «А. И. Куприн — бесспорно один из самых выдающихся наших мо-

⁷ Беллетрист П. Д. Боборыкин был почетным академиком.



А. И. КУПРИН
1908 г.

Несколько дополнительных штрихов к этой картине дает письмо М. К. Куприной к Ф. Д. Батюшкову от 9 мая 1906 г., т. е. через несколько дней после приезда Куприных в Даниловское: «У Вас здесь замечательно хорошо, но немного жутко. Если с Алекс. Ив. спадет „увлечение деревней“ и он будет надолго уезжать или пропадать, по своему обыкновению, на целую ночь, то мне будет немного страшно. Полы трещат, всю ночь скребутся мыши, комнаты большие и пустынные — так и ждешь, что где-нибудь покажется привидение», — шутливо заканчивает она описание «господского дома» в Даниловском.

В усадьбу Батюшкова Куприн приезжал несколько раз, так как петербургская обстановка не давала ему возможности систематически работать. Здесь в 1906 г. он написал рассказы «Обида» и «Река жизни» и начал «Как я был актером»; в 1907 г. написал «Изумруд» и «Суламифь», в 1908 начал «Яму»; в 1909 написал несколько мелких рассказов и очерков, а в 1911 работал над повестью «Жидкое солнце». После 1911 г. Куприн в Даниловском не бывал, но запас впечатлений, вынесенных из пребывания в имении Батюшкова, еще долго питал его творчество.

Глава восьмая

НОВЫЕ СКИТАНИЯ. — ОТНОШЕНИЯ ГОРЬКОГО И КУПРИНА В 1908—1916 гг.

Возвращение Куприна в Петербург было сопряжено для него в этот период с тяжелыми переживаниями. Богемная среда втягивала его в свои попойки, кутежи, мешала работать, много времени отнимали частые посещения известных «литературных» ресторанов «Капернаум» и «Вена». Куприна тяготила эта бессмысленная и бессодержательная жизнь. В конце 1906 г. он поселился в Гатчине, скрывая свой адрес. Чтобы избавиться от неприятных ему навязчивых «друзей», Куприн прибегал даже к наивным мистификациям. Так, в письмо к Ф. Д. Батюшкову, находившемуся в Финляндии, Куприн вложил другое письмо, адресованное какому-то из петербургских знакомых и написанное Куприным якобы из Гельсингфорса. Прося Батюшкова наклеить на вложенное письмо финскую марку и опустить в почтовый ящик, Куприн объясняет причины такой странной просьбы: «Марья Карловна проболталась кое-кому о нашем настоящем адресе. Я боюсь нашествия моих венских друзей, и тогда пропала работа, пропало радостное настроение труда, пропала трезвая жизнь, с таким трудом установленная. Прилагаемое письмо должно служить отводом глаз для разных эффиопов» (письмо от 5 декабря 1906 г.).

Однако избавиться от «венских друзей» было нелегко, и богема, сгубившая не одного талантливого писателя, принесла немало горьких переживаний Куприну. К этому присоединились и семейные неприятности, и

в начале 1907 г. Куприн уехал для лечения сдавших нервов в Финляндию. Он надеялся здесь поработать, но ожидания его не оправдались. В письме к Батюшкову от 25 марта 1907 г. он жалуется, что ничего не написал: «На мое горе мне попались 10 томов Дюма-рёге и 7 т. Гюго. Точно подсолнышки. Но Гюго хуже. Дорогой мой, если бы ты знал, как писатели всех стран крадут у Дюма. Правда, — прибавляет Куприн, — и он таскал обеими руками отовсюду». Как будет указано ниже, и это чтение не пропало для Куприна даром и принесло свои плоды.

Хотя финляндская поездка в литературном отношении не оправдала себя (результатом ее явились очерки «Немножко Финляндии»), для Куприна она имела большое семейное и личное значение — туда он поехал с племянницей Д. Н. Мамина-Сибиряка, Елизаветой Моритцовой Гейнрих, ставшей затем его женой, после развода с Марьей Карловной.

С этого времени у Куприна вновь начинается период скитаний. То он живет в Гатчине, то переезжает в Крым, то проводит зиму в имении Батюшкова, в Даниловском.

В 1908—1909 г. Куприн начал работать над своей известной повестью «Яма». Чтобы создать благоприятную обстановку для работы и вырваться из круга «венских» и «капернаумских» знакомств, Куприн в 1909 г. переехал в Житомир, затем в том же году переселился в Одессу, где провел с перерывами несколько лет. Материальное положение его, несмотря на литературный успех его произведений и присуждение ему Академией Пушкинской премии, было крайне трудным; издательства не высылали гонорара, семья увеличивалась, денежные заботы отвлекали от творчества. Письма и телеграммы Куприна к Батюшкову полны жалоб на «бамбук» (безденежье) и просьб то выхлопотать ссуду в Литературном фонде, то просто выслать ту или иную сумму. Некоторые письма полны отчаяния: «В то время, когда я мучительно горел, обдумывая „Яму“, я принужден был бегать по всему Житомиру в поисках за деньгами. А в ломбарде мне сказали, что вся наличность исчерпана, и что если придет кто выкупить вещь, то только в том случае мне будет выдана ссуда под мои бебехи» (письмо от 24 апреля 1909 г.).

18 февраля 1910 г. он сообщает Батюшкову из Риги: «Боюсь, опишут вещи». — «Я — одинок, денег ни копейки, — писал Куприн А. А. Измайлову, повидимому, в 1910 г., — связан семейными обстоятельствами, долгов пропасть. Кредит исчерпан, нечем платить за квартиру, и все, что было ценного, давно в ломбарде — пальто, женины каракули и кольца, ковры и т. д. Теперь очередь мебели красного дерева, но чорт ли ее возьмет». В другом письме Куприн сообщает, что у него не было 8 копеек, чтобы заплатить почтальону за присланное без марки письмо, и пришлось идти к почтмейстеру просить поверить ему письмо в долг.

В эти годы Куприн переживал особенно тяжелое настроение: «И еще потому я не мог до сих пор приняться за „Яму“, что уж больно много начитался критики — до того, что мне моя работа опротивела. Теперь насилу справился и начинаю» (письмо к Батюшкову от 26 сентября 1909 г.). — «Критика и публика начинают меня забывать. Денег нет, никто меня не любит. Накрутил, намутил я тысячу сумбурных дел, многих приобидел, многих оттолкнул от себя невниманием. И вот подходит старость, утомление, а вместе с ними ужасная мысль. Ах, зачем я в юности не занялся торговлей или педагогией. Таковы мои итоги прошлых лет» (письмо А. А. Измайлову 1909 г. из Одессы).

Здоровье Куприна в это время сильно расшатывается, ему не однажды приходится ездить в Гельсингфорс и Ригу лечиться от неврастения; литературные сплетники распространяли даже слухи о сумасшествии писателя. В письме к Ф. Д. Батюшкову от 2 декабря 1909 г. Куприн с горечью описывает свой приезд в Даниловское, где находились художник П. Нилус и И. А. Бунин: «Появление мое было похоже на визит Каменного Гостя. Очевидно и до них дошел слух о моем сумасшествии». Эти сплетни, литературные и театральные дразги, трудное материальное положение, смерть матери (в июне 1910 г.) — все это сильно влияет на работоспособность писателя. «Яма» двигается медленно, Куприну приходится ради денег писать мелкие и мало обработанные вещи, которыми он сам недоволен.

«Я очень беден теперь и подрабатываю кустарным промыслом, — с горечью сообщал он Батюшкову

в начале 1907 г. Куприн уехал для лечения сдавших нервов в Финляндию. Он надеялся здесь поработать, но ожидания его не оправдались. В письме к Батюшкову от 25 марта 1907 г. он жалуется, что ничего не написал: «На мое горе мне попались 10 томов Дюма-рёге и 7 т. Гюго. Точно подсолнышки. Но Гюго хуже. Дорогой мой, если бы ты знал, как писатели всех стран крадут у Дюма. Правда, — прибавляет Куприн, — и он таскал обеими руками отовсюду». Как будет указано ниже, и это чтение не пропало для Куприна даром и принесло свои плоды.

Хотя финляндская поездка в литературном отношении не оправдала себя (результатом ее явились очерки «Немножко Финляндии»), для Куприна она имела большое семейное и личное значение — туда он поехал с племянницей Д. Н. Мамина-Сибиряка, Елизаветой Моричевой Гейнрих, ставшей затем его женой, после развода с Марьей Карловной.

С этого времени у Куприна вновь начинается период скитаний. То он живет в Гатчине, то переезжает в Крым, то проводит зиму в имении Батюшкова, в Даниловском.

В 1908—1909 г. Куприн начал работать над своей известной повестью «Яма». Чтобы создать благоприятную обстановку для работы и вырваться из круга «венских» и «капернаумских» знакомств, Куприн в 1909 г. переехал в Житомир, затем в том же году переселился в Одессу, где провел с перерывами несколько лет. Материальное положение его, несмотря на литературный успех его произведений и присуждение ему Академией Пушкинской премии, было крайне трудным; издательства не высылали гонорара, семья увеличивалась, денежные заботы отвлекали от творчества. Письма и телеграммы Куприна к Батюшкову полны жалоб на «бамбук» (безденежье) и просьб то выхлопотать ссуду в Литературном фонде, то просто выслать ту или иную сумму. Некоторые письма полны отчаяния: «В то время, когда я мучительно горел, обдумывая „Яму“, я принужден был бегать по всему Житомиру в поисках за деньгами. А в ломбарде мне сказали, что вся наличность исчерпана, и что если придет кто выкупить вещь, то только в том случае мне будет выдана ссуда под мои бебехи» (письмо от 24 апреля 1909 г.).

18 февраля 1910 г. он сообщает Батюшкову из Риги: «Боюсь, опишут вещи». — «Я — одинок, денег ни копейки, — писал Куприн А. А. Измайлову, повидимому, в 1910 г., — связан семейными обстоятельствами, долгов пропасть. Кредит исчерпан, нечем платить за квартиру, и все, что было ценного, давно в ломбарде — пальто, женины каракули и кольца, ковры и т. д. Теперь очередь мебели красного дерева, но чорт ли ее возьмет». В другом письме Куприн сообщает, что у него не было 8 копеек, чтобы заплатить почтальону за присланное без марки письмо, и пришлось идти к почтмейстеру просить поверить ему письмо в долг.

В эти годы Куприн переживал особенно тяжелое настроение: «И еще потому я не мог до сих пор приняться за „Яму“, что уж больно много начитался критики — до того, что мне моя работа опротивела. Теперь насилу справился и начинаю» (письмо к Батюшкову от 26 сентября 1909 г.). — «Критика и публика начинают меня забывать. Денег нет, никто меня не любит. Накрутил, намутил я тысячу сумбурных дел, многих приобидел, многих оттолкнул от себя невниманием. И вот подходит старость, утомление, а вместе с ними ужасная мысль. Ах, зачем я в юности не занялся торговлей или педагогией. Таковы мои итоги прошлых лет» (письмо А. А. Измайлову 1909 г. из Одессы).

Здоровье Куприна в это время сильно расшатывается, ему не однажды приходится ездить в Гельсингфорс и Ригу лечиться от неврастения; литературные сплетники распространяли даже слухи о сумасшествии писателя. В письме к Ф. Д. Батюшкову от 2 декабря 1909 г. Куприн с горечью описывает свой приезд в Даниловское, где находились художник П. Нилус и И. А. Бунин: «Появление мое было похоже на визит Каменного Гостя. Очевидно и до них дошел слух о моем сумасшествии». Эти сплетни, литературные и театральные дразги, трудное материальное положение, смерть матери (в июне 1910 г.) — все это сильно влияет на работоспособность писателя. «Яма» двигается медленно, Куприну приходится ради денег писать мелкие и мало обработанные вещи, которыми он сам недоволен.

«Я очень беден теперь и подрабатываю кустарным промыслом, — с горечью сообщал он Батюшкову

в письме от 20 апреля 1910 г. и перечислил затем: — За эти дни написал 1) «В трамвае» (500 строк) для «Утра России»; 2) «Искушение» (600 стр.) для «Русского слова»; 3) «По-семейному» для корреспондентского бюро (300 стр.); 4) «Скэтинг-Ринк» для журнала Татаринова того же имени (300 стр.); 5) «Они будут...» для «Русского слова» (300 стр.); 6) «Леночка» для «Одесских новостей» (600 стр.); 7) Статью о Твене (100 стр.) и 8) статью о П. Нилусе (о книге) 20 стр. ... Ты видишь, вместо того, чтобы писать Яму, я пишу мелочи... На что мне жить? Я уже все заложил. Поневоле пишу, что попало и где попало. Надо есть!».

Спешка Куприна в работе и неразборчивость, с которой он относился к печатным органам, искавшим его сотрудничества, давали враждебным журналистам повод для нападков на него. Так, в связи с тем, что рассказ «По-семейному» был отдан Куприным в Корреспондентское бюро, в ряде газет появилась язвительная заметка под заглавием «Циркулярный рассказ»; в этой заметке без каких-либо комментариев, но с явным злорадством сообщалось, что рассказ «По-семейному» был напечатан в пасхальных номерах десяти газет.

Газетные репортеры сильно досаждают Куприну своими бесцеремонными сообщениями о нем и его поступках. «Знаешь ли, — писал он Ф. Д. Батюшкову 1 апреля 1910 г., — от этой газетной брехни я стал теперь совсем седой». В недатированном письме из Одессы (1910) Куприн жаловался А. А. Измайлову: «Здесь про меня репортеры такое врут, что у меня „аж очи на лоб вылазят“. Кажется, на-днях побью какого-нибудь рецензента».

Жадность Куприна «видеть все, знать все, уметь все и писать обо всем», как он позднее говорил об идеальном репортере, во многих случаях подавала повод к тому, чтобы о нем писали в газетах в духе сенсаций и лживо перетолковывали его действия и суждения. То он поднимается на воздушном шаре с С. И. Уточкиным, то в водолазном скафандре опускается на дно Черного моря, то летит на аэроплане и едва не погибает при этом. Много огорчений доставляли Куприну журналисты, желавшие обратить на себя внимание читателей своими нападками на него. Так, в 1908 г. с «сенсационными

разоблачениями» личной жизни Куприна, в дальнейшем оказавшимися клеветой, выступил некий Ф. Райлян. Узнавший из газет об этой истории на первом ее этапе М. Горький писал В. Л. Львову-Рогачевскому: «Что за ужас, этот инцидент Куприна — Райляна! Неужели около Ал. Ивановича нет человека, который бы посоветовал ему хоть выехать на время из России! — Следовало бы встать за Куприна, что бы он там ни наделал».¹

В январе 1911 г. Куприн участвует в жюри на чемпионате в одном из петербургских цирков. Когда он по какому-то поводу удалился с эстрады, публика стала, как сообщали газеты, кричать: «Подать сюда Куприна!». Этот инцидент вызвал обильные злорадные отклики самых разнообразных органов буржуазной печати, включая «Новое время», «Биржевые ведомости» и др. Внимательно следивший за русской жизнью и знавший об этом случае А. М. Горький с возмущением писал по этому поводу одному из своих корреспондентов: «Куприн — публичный писатель, которому цирковые зрители орут... Подать сюда Куприна! Тургеневу бы или Чехову крикнули этак?».²

Появление в печати первой части «Ямы» (1909) не улучшило материального положения Куприна. Кочуя с семьей по России (Житомир, Одесса, Рига, снова Одесса), он мотивирует это необходимостью найти место, где жизнь была бы дешевле и где можно было бы легче прожить с семьей.

«Брожу по России, как Вечный жид! Теперь мы, вот, почему-то решили ехать в Гагры. Почему в Гагры, зачем в Гагры, какие такие Гагры — никто не знает» (письмо к Ф. Д. Батюшкову от 13 августа 1909 г.). — «Милый кум! Опять один Аллах ведает, как, почему и зачем очутились мы, вместо Гагр, в Одессе» (ему же от 30 августа 1909 г.).

Очень жалуется Куприн в своих тогдашних письмах к друзьям на жадность и некорректность издателей. В письмах к Батюшкову 1909—1910 гг. Куприн неоднократно рассказывает о притеснениях, чинившихся ему различными «литературными предпринимателями». Осо-

¹ ИМЛИ, шифр: ПГ—рл 24-5-12.

² Ротштейн, стр. 308.

бенно много огорчений доставил ему издатель журнала «Новая Россия» Н. Архипов. Жаловался он и на «перасположение к себе» К. П. Пятницкого, заведовавшего издательством «Знание», писал, что всегда был «пасынком у Знания» и т. д.³

В 1911 г. по соображениям экономии и необходимости быть ближе к прижимистым издателям Куприн окончательно поселяется в Гатчине. В это время он заключает договор с издательством А. Ф. Маркса, выпускавшим популярный журнал «Нива», о продаже права на свои произведения. Надежды Куприна на то, что это мероприятие улучшит его материальное положение, мало оправдались: ему пришлось возвращать значительные суммы другим издателям, с которыми он был связан более ранними, невыгодными для него договорами. Через несколько лет в беседе с газетным репортером, задавшим ему вопрос о его материальном благосостоянии и просившим извинения за нескромность такого вопроса, Куприн сказал: «Чего же тут нескромного, ничего у меня, кроме долгов, нет. Дом два раза заложен, многие вещи, как говорится, „в починке“... Были кое-какие ковры, да камни, да цепочка — все „чинится“. Чем объяснить это: непрактичностью, глупостью или расточительностью?! Право, не знаю! Главная причина некоторых лишений — моя доверчивость. Я всегда верил слову человека, — даже тем, которые меня обманывали по два-три раза. В контракты не вчитывался, в юридическом крючкотворстве не разбираюсь, и, может быть, отсюда мои материальные неудачи... Ну, да все это меня не удручает. Что бы я был за русский писатель, если бы умел устраивать свои дела или давал бы деньги в рост и всякое такое...».⁴

Все же летом 1912 г. Куприн смог осуществить поездку в Ниццу, куда врачи направили его для восстановления расшатанного здоровья.

«По словам А. И., — писал ниццкий корреспондент «Биржевых ведомостей», — он почти растерялся от наплыва новых впечатлений. Не изменяя своей обычной

³ Письмо 1908 г. к С. П. Богомолу (ИРЛИ).

⁴ Вас. Регинин. У А. И. Куприна после юбилея. — Биржевые ведомости (веч. вып.), 1915, 17 января, № 14617.

общительности, он быстро сошелся на дружескую ногу со здешними рыбаками, синдикатами кучеров, шофферов и разного рода рабочих, завел знакомства во французском обществе врачей, педагогов, посетил несколько предвыборных собраний, и хотя французы, особенно ниццары, относятся подозрительно к иностранцам, Куприн сумел расположить в свою пользу окружающих». ⁵

Ницца очень не понравилась Куприну, как и вообще Западная Европа: «Нет, Федор Дмитриевич, — писал он Батюшкову 29 апреля 1912 г., — заграница не для меня! Я до сих пор — а это уже 3 недели — живу в Ницце и никак не могу отделаться от впечатления, что все это нарочно, или точно во сне, или в опере. И, главное, ничто меня не удивляет и не заставляет верить в прелести европейской культуры». Рассказав о своих дорожных злоключениях, Куприн продолжал: «Но Ницца... Ницца гаже всего. Какой-то международный вертеп, игорный дом, растянувшийся по всей Ривьере...».

Через месяц он снова жалуется Батюшкову на Ниццу: «Здесь ужасно. Пожирают мустики. ⁶ От южного ветра у меня трясутся нервы. Купаться не могу — нервная сыпь. Одолевает бедность, и гнетет жара.

Ах, почто на Ниццу пышную
Гатчину я променял...

«Завидую тебе. Ижима, ⁷ болота, собаки, охота, русская речь, свободная одежда, тихие зори, липы, сладкий сон в тишине, в своем доме! Ах, ах, ах...

«... Ой, как хочу в Россию! Ужас! Но завяз в Ницце, и конец. Теперь барахтаюсь, чтобы вынырнуть».

Гораздо больше понравился Куприну «милый, очаровательный Марсель», «удивительный город».

Подводя позднее итоги своему заграничному путешествию, Куприн указывал корреспонденту, что самым интересным для него было «соприкосновение с улицей»: «Целые дни я проводил в порту Марселя, на молах, среди всех этих носильщиков, продавцов, матросов, про-

⁵ — о в. Куприн в Ницце. — Биржевые ведомости, 1912, 5 мая, № 12922.

⁶ Москиты.

⁷ Речка в имении Ф. Д. Батюшкова, Даниловском.

летариев всякого рода и их подруг. Нас предупреждали о некоторых улицах, что туда опасно заглядывать даже днем. Разумеется, я ходил туда ночью, и никто меня не обидел. Все это славный народ».⁸

Интересовали Куприна в Ницце и местные рыбаки. Он с ними очень подружился, ездил вместе с ними тащить сети, слушал старые итальянские песни, завтракал с ними на берегу специальным остро приправленным блюдом.

Результатом заграничной поездки Куприна явилась книга «Лазурные берега» (1913), составленная из очерков Ниццы и Марселя. Острая и меткая наблюдательность, уверенная четкость рисунка, умение отбирать существенное, интересное, характерное, крепкий, можно твердо сказать, классический язык делают особенно привлекательными эти живые умные очерки. Если сравнить с ними ранние очерки Куприна 90-х годов «Киевские типы», очерки Донбасса, рост художественного мастерства Куприна становится особенно заметным.

«Лазурные берега» имели еще одну важную черту: в отдельных местах книги прозвучали новые ноты; у Куприна, подчеркивавшего в предшествовавшие годы свою «аполитичность», а в 1911 г. написавшего «Королевский парк» (см. стр. 77), почувствовалось отражение нараставшего нового подъема революционного движения.

Он писал: «Судьба моей прекрасной родины в руках рыцарей из-под темной звезды»,⁹ имея в виду черносотенно-монархическое правительство. В другом месте, рисуя виденную им в Варшаве сцену избиения городовым извозчика, Куприн многозначительно прибавил: «Конечно, вечное, милое, русское христианское терпение — прекрасное достоинство. Однако события последних дней показывают, что это терпение иногда разгорается в пожар». «События последних дней», о которых упоминал здесь Куприн, — это Ленский расстрел (4 апреля 1912 г.), первомайские стачки, охватившие всю страну, восстание солдат-саперов в Ташкенте в июле 1912 г. и т. д.

⁸ Аякс <А. А. Измайлов>. У А. И. Куприна. — Биржевые ведомости, 1912, 7 сентября; № 13131.

⁹ «Рыцари из-под темной звезды» — шулеры.

Отражением новых настроений Куприна следует считать прекрасный рассказ «Анафема», направленный против монархическо-церковной посмертной травли Л. Толстого. Рассказ этот, напечатанный в журнале «Аргус» (1913, № 2), был запрещен цензурой, книжки журнала конфискованы, а издатель «Аргуса» и Куприн привлечены к ответственности за богохульство.

С этими же настроениями связаны высказывания Куприна в одном интервью, внешне очень напоминающие взгляды М. Горького: «Меня влечет к героическим сюжетам. Нужно писать не о том, как люди обнищали духом и опошлели, а о торжестве человека, о силе и власти его».¹⁰

Не следует однако переоценивать значение этих высказываний Куприна. «Героическое», о котором он говорил, «торжество, сила и власть человека», о которых он собирался писать, это совсем не то, что имел в виду, употребляя те же или почти те же термины, М. Горький. Однако на общем фоне буржуазной упадочной литературы тех лет слова Куприна имели определенный прогрессивный смысл. И можно полагать, что эти новые настроения, появившиеся у Куприна, были следствием его гуманистического отношения к действительности. Новый общественный подъем тех лет заставил его по-иному отнестись ко многому. К этому времени относится приглашение Горького, который писал из Капри:

«Дорогой Александр Иванович!

«А не заглянете ли вы на тихий остров Капри повидаться, побеседовать, рыбы половить со здешними рыбаками?»

«Я и многие русские — встретили бы вас с великой радостью; уверен, что вам понравилось бы и природа и жизнь здесь.

«Будь у меня немножко больше свободного времени — я приехал бы в лощеную Ниццу сманивать вас сюда, но — к сожалению — как раз в эти дни пленен „делами“ и публикой из России.

«Здесь небольшая колония русских, очень хорошие, интересные люди. Приезжайте!

¹⁰ С. Фрид. У А. И. Куприна. — Биржевые ведомости (веч. вып.), 1913, 21 сентября, № 13764.

«Жду ответа и буду душевно рад видеть вас, пожать вашу руку.

А. Пешков».¹¹

На фоне приведенных выше и в дальнейшем отзывов Горького о Куприне периода 1908—1910 гг. данное письмо может показаться непонятным, непоследовательным. На самом деле оно было вполне закономерным следствием отношения Горького к Куприну, было проявлением постоянной заботы Горького о замечательном, но слабохарактерном писателе, которого он высоко ценил.

Поэтому следует здесь остановиться подробно на отношении Горького к Куприну в 1908—1912 гг.

Новые произведения Куприна после 1905—1906 гг. не отвечали требованиям, которые Горький предъявлял к литературе. Повесть Куприна «Суламифь» ему не понравилась: «Куприн, — сказал Горький писателю-декаденту С. Ауслендеру, — хороший бытописец, но совсем незачем было ему трогать Песню Песней, — это и без него хорошо. А Соломон его смахивает все же на ломового извозчика».¹²

В 1908 г. расхождение обоих писателей становится особенно заметным.

Появление рассказа Куприна «Морская болезнь» вызвало возмущение Горького. «Не находите ли вы, — писал он критику М. Неведомскому (М. П. Миклашевскому), — что армейский поручик Куприн слишком часто сморкается на социал-демократию? Талант — хорошо, но скандальничать необязательно».¹³ Через некоторое время в 21-м сборнике «Знания» был опубликован рассказ Куприна «Ученик» — о шулере в студенческой форме и его похождениях на волжском пароходе. Рассказ этот свидетельствовал об измелечании критического реализма Куприна и его отходе от серьезной общественной тематики, уступках с его стороны обывательскому равнодушию к политической борьбе. Новое произведение Куп-

¹¹ Ю. Оксман. Неизвестное письмо М. Горького. — Коммунист (Саратов), 1947, 18 июня, № 119.

¹² С. Ауслендер. «Кукольное царство». (Очерк). — Золотое руно, 1908, № 6, стр. 72.

¹³ ИМЛИ, шифр: ПГ—рл 25-32-3; в черновике этого письма (ПГ—рл 25-32-2) последняя фраза такова: «Талант хорошо, но и ума нужно немножко».

рина заставило Горького, находившегося тогда на Капри и давно уже видевшего тлетворное влияние эпохи реакции на Куприна, написать К. П. Пятницкому исключительно взволнованное письмо. Приведем из него несколько отрывков.

«Третьего дня из газетного объявления узнаю, что в 21-м сборнике напечатан рассказ Куприна. Куприн — это человек, который всем открыто говорил, что „Знание“ его обжулило, обворовало и т. д. Мне известно, что он говорил это в формах грубых, резких; я помню также, что и сами Вы, говоря о его клевете, сильно злились».

Крайне резко отозвавшись о «Морской болезни», Горький продолжал:

«Сегодня получаю сборник, читаю Куприна. Недоумеваю. „Ученик“ написан слабо, небрежно и по теме своей — анекдотичен. Можно подумать, что автор написал его специально для „Знания“, кое, в его глазах, видимо является издательством, готовым печатать всякую дрянь, лишь бы она была подписана „именем“.

«Говоря короче — я такого рассказа в „Знании“ не напечатал бы. И вообще полагаю, что Куприну — нет места в Знании и — не должно быть <...>».

Указав, что печатание подобных вещей заставляет его отказаться от редактирования сборников «Знания», Горький так мотивировал свою позицию в этом вопросе:

«Я решительно против литературного шарлатанства и цинизма, против торговли чувством и мыслью, против литературы, „услужавшей“ обывателю-мещанину, который желает и требует, чтобы Куприны, Андреевы и прочие талантливые люди закидали и засыпали вчерашний день всяким хламом, чтобы они избавили обывателя от страха пред завтрашним днем».¹⁴

Непримиримый тон этого письма был продиктован не только тем, о чем непосредственно говорит здесь Горький. Несомненно, были еще более глубокие причины: Горький был очень огорчен тем, что не осуществились большие надежды, которые он возлагал на талант Куприна; он негодовал на Куприна, разменивавшего свое большое и яркое

¹⁴ М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 29. М., 1955, стр. 63—64; А. М. Горький. Письма к К. П. Пятницкому. М., 1954, стр. 245—246 (Архив А. М. Горького, т. IV).

дарование на произведения вроде «Суламифи», в которой Горький справедливо видел уход от реализма, и на такие отвратительные вещи, как «Морская болезнь»; Горький был возмущен политическим равнодушием, которое афишировал тогда Куприн в беседах с газетными сотрудниками и в своих произведениях 1908 г.; наконец, Горькому претили капернаумские и венские приключения Куприна, о которых писали буржуазные газеты и падкие на сенсацию мелкие журналы. Во всем этом Горький видел со стороны Куприна служение обывателю-мещанину, испугавшемуся революции 1905 года и больше всего боявшемуся новой революции; этому мещанину была по душе пряная и грубоватая экзотика «Суламифи», уводившая от современности, ему нравилась «Морская болезнь» Куприна, оплевывавшая социал-демократию. Во всем этом Горький видел идейное предательство, литературное ренегатство.

Через несколько месяцев Куприн выступил с рассказом «Последнее слово», темой которого было изобличение обывательщины, мещанства. Горький был расстроен тем, что произведение это было помещено в еженедельной газете «Весна» Шебуева, газете исключительно пошлой, газете с обывательским лозунгом: «В политике — вне партий, в литературе — вне кружков, в искусстве — вне направлений». Горький писал по этому поводу С. П. Боголюбову: «Скандалят наши литераторы — гадость какая эта „Весна“! И прикрыта именами Андреева, Куприна. Грустно и тяжело!».¹⁵

В том же 1908 г. Куприн, лечившийся в Ессентуках от ишиаса, прочитал лекцию о современной литературе под названием «Портреты и характеристики». Текст лекции не был напечатан и, насколько известно, не сохранился. Поэтому для знакомства с ней приходится пользоваться газетным изложением ее. В этой лекции Куприн коснулся и творчества А. М. Горького. Но какая разница между высказываниями Куприна о Горьком в этой лекции и тем, что говорил он о Горьком в 1905 г.!

Прослушав в июне 1905 г. чтение Горьким у И. Е. Репина пьесы «Дети солнца», Куприн сказал сотруднику «Одесских новостей»: «„Дети солнца“ написаны с особен-

¹⁵ ИМЛИ, шифр: ПГ. 5-48.

ной любовью и обдуманностью. . . Все поняли ее «пьесы» истинность и жизненность».¹⁶

Тогда же, по словам М. К. Куприной-Иорданской, Куприн сообщил ей следующее: «Скиталец сказал сегодня умную вещь. Горький предложил ему быть на „ты“, но Скиталец ответил: „Мы с вами не пара: я — горшок глиняный, а вы чугунный. Если слишком близко стоять с вами рядом, разобьешься. . .“. Да, все мы по сравнению с Горьким горшки глиняные, он один чугунный. . . Он как великий мастер владеет темами, а не темы владеют им».¹⁷

Совершенно иной характер имело высказывание Куприна о Горьком в эссентукской лекции 1908 г. Здесь чувствуется какое-то покровительственное отношение «настоящего» художника к талантливому, но «заблуждающемуся» собрату, чувствуется даже какая-то снисходительность, и, пожалуй, пренебрежительный тон: «Горького, — сообщает корреспондент, — он «Куприн» называл могучим, красочным талантом, а лучшим его произведением драму „На дне“. Когда Горький захотел учительствовать, он стал падать, но, судя по „Исповеди“, снова подымается». Отозвавшись таким образом о Горьком, сказав о нем полуободрительную фразу, Куприн тут же рассыпался в похвалах «необыкновенному, ужасному, сумрачному таланту» Л. Андреева.¹⁸

В течение 1909—1911 гг. расхождение между Горьким и Куприным продолжается.

Тем больший интерес представляет цитированное выше приглашение. Вместе с письмом А. М. Горького было получено письмо от М. Ф. Андреевой. Куприн в это время путешествовал по Италии. В его отсутствие Е. М. Куприна сообщала Ф. Д. Батюшкову в письме от 17 июля 1912 г.: «Зовет Горький на Капри, и Мария Федоровна написала очень милое письмо»

Вернувшийся через несколько дней из итальянского путешествия,¹⁹ Куприн был чрезвычайно обрадован и тронут письмом Горького:

¹⁶ Одесские новости, 1905, 14 июля, № 6691.

¹⁷ М. К. Куприна - Иорданская. Из воспоминаний об А. И. Куприне. — Огонек, 1945, № 36, стр. 8.

¹⁸ Литературная летопись. — Рсчъ, 1908, 3 августа, № 181, стр. 4.

¹⁹ О возвращении Куприна в Ниццу Е. М. Куприна писала Батюшкову 22 июля 1912 г.

«Вы очень меня тронули, дорогой, добрый Алексей Максимович, что не совсем забыли обо мне. Без зова, правду сказать, я не решился бы к Вам приехать: знаю, как Вас осаждают. А теперь непременно приеду, даже через несколько дней».²⁰

Когда же из-за забастовки моряков поездка Куприна на Капри не состоялась, он с огорчением писал Горькому: «Из-за забастовки застрял в Ливорно и едва смог вернуться домой в Ниццу... Ежедневно вздыхаю о том, что не успел повидаться с вами, — так мечтал об этом!».²¹

Позднее Куприн в письме к Горькому указал еще одно обстоятельство, помешавшее их встрече: «Дорогой Алексей Максимович! Верьте не верьте, а я только потому не приехал к Вам, что у нас у троих было ровно два франка и 5 снт «сантимов». Теперь дела поправились, и всей душой я стремлюсь в Неаполь, но надо ехать в Solco Magiore лечиться, иначе на всю зиму обезножу».²²

Едва ли следует сомневаться в искренности этих писем Куприна. Именно около этого времени он с особенной остротой ощущал свою печальную славу опускающегося писателя, и поэтому приглашение Горького имело для него значение огромной моральной поддержки. Он понимал также, что приглашение Горького имеет и большое общественное значение — оно свидетельствовало о том, что Горький, несмотря на репутацию Куприна, не порывает с ним отношений, а это несомненно подымало Куприна в глазах той части передовой критики и читателей, с которыми он не мог не считаться. Поэтому по возвращении на родину Куприн счел нужным в беседе с А. А. Измайловым специально остановиться на эпизоде с приглашением Горького: «У меня было намерение приехать на Капри к Горькому, но забастовка сделала то, что все пути в Неаполь оказались для нас отрезанными... А жаль, и прежде всего потому, что для меня было бы большой радостью повидаться с Горьким. Он звал меня таким милым, дружеским письмом».²³

²⁰ Рогштейн, стр. 311

²¹ Там же, стр. 311.

²² ИМЛИ, шифр: КГ—П 41-10-3.

²³ Аякс <А. А. Измайлов> У А. И. Куприна. — Биржевые ведомости (веч. вып.), 1912, 7 сентября, № 13131.

В этом интервью Куприн несколько изменяет положение вещей: он излагает дело так, словно поездка к Горькому входила в его планы, словно письмо Горького не было причиной возникновения этих планов, словно у него, Куприна, не было чувства робости и сконфуженности перед Горьким, в чем он признавался между строк в своем ответе на приглашение: «Без зова, правду сказать, я не решился бы к Вам приехать...». Слова «знаю, как Вас осаждают» должны были только замаскировать эту робость и сконфуженность.

Итак, вопрос о встрече Горького с Куприным был поднят именно Горьким. Чем же объясняется этот шаг с его стороны? Несомненно, приглашение это свидетельствовало о том, что Горький имел какие-то определенные планы в отношении Куприна. Правильно, по нашему мнению, истолковывает этот факт проф. Ю. Г. Оксман в статье, сопровождающей публикацию письма Горького Куприну: «Отход Куприна в пору реакции с передовых общественно-политических позиций ощущался Горьким как потеря временная, досадная, но не безнадежная».²⁴ Очевидно, Горький надеялся при личной встрече воздействовать на Куприна, напомнить ему совет, данный в письме о сборнике памяти Чехова, — «о более серьезном отношении к самому себе». Очевидно, Горький хотел вернуть Куприна на покинутую им в годы реакции дорогу революционной, идейной литературы.

Однако встреча писателей все же не состоялась, и наметившиеся в «Лазурных берегах» сдвиги в позиции Куприна не были в дальнейшем упрочены и подкреплены.

Вернувшись в Россию, Куприн снова попал в свое прежнее богемное окружение. Отрешиться от упрочившихся бытовых привычек, развязаться со своими «эфиопами», как он называл своих приятелей по ресторанам «Вена» и «Капернаум», Куприн так и не сумел. Все это отрицательно влияло на его общественную репутацию, на его здоровье и работоспособность.

Сказалось это не только на его литературной деятельности, но и на отношениях с Горьким.

²⁴ Ю. Г. Оксман. Неизвестное письмо М. Горького. — Коммунист (Саратов), 1947, 18 июня, № 119.

Если рассказ «Черная молния» пропитан «горьковским духом», если в 1913 г. в беседе с газетным сотрудником Куприн приветствует слухи о предстоящем возвращении Горького в Россию, если в письме к Горькому Куприн называет его «чудесным художником», то в том же 1913 г. Куприн снова выступает против Горького, солидаризируясь с буржуазной литературной и театральной критикой. Это было связано с появлением статьи Горького, осуждавшей постановку Московским Художественным театром инсценировки романа Достоевского «Бесы». Буржуазная пресса раздула этот факт с целью опорочить Горького, авторитет которого все больше рос в эти годы нового общественного подъема. Бульварные «Биржевые ведомости» провели по этому поводу опрос ряда писателей и критиков и результаты этой анкеты поместили под крикливым заглавием «О выпаде г. Горького против Достоевского», предварив печатаемые ответы редакционной статьей, резко направленной против Горького. На первом месте был помещен ответ Куприна.

«Причиной вмешательства Горького в постановку Художественным театром „Бесов“ Достоевского, — заявил Куприн, — я считаю его слишком долгую причастность к партии социал-демократов. От этого он привык на все смотреть под известным углом зрения и во всем искать и видеть тенденциозность. Выступление Горького было бы понятно, — поучающе продолжал Куприн, — со стороны какого-нибудь партийного деятеля, а не крупного русского писателя». И далее в совершенно развязном тоне Куприн заявил: «Письмо Максима Горького является бестактностью и по отношению к Художественному театру, и к публике, чтущей Достоевского».²⁵

Для характеристики позиции Куприна в этом вопросе существенно еще следующее: ряд лиц, мнения которых также были приведены в «Биржевых ведомостях» (Ф. Д. Батюшков, С. А. Венгеров и др.), выступил с печатным протестом против редакционного предисловия; подписи Куприна под этим протестом нет. Нам не известно, обращались ли к нему участники протеста с предложением присоединиться и он отказался, или просто они сочли не тактичным привлекать его к своему выступлению, — и то

²⁵ Биржевые ведомости, 1913, 8 октября, № 13792, стр. 3.

и другое возможное объяснение данного факта достаточно определяет общественное лицо Куприна в 1913 г.

Не последнюю роль в упадке общественного уважения к Куприну в это время сыграл выход в свет — конечно, не без его ведома — нагло рекламной книги «Десятилетие ресторана „Вена“», где имя Куприна часто упоминалось. В разделе «Наброски углем» ему была посвящена статья, в которой о Куприне говорилось как о почетном завсегдатае этого ресторана, приводились его эпиграммы и эпитафии на него, а в конце анонимный автор²⁶ серьезно писал: «Будущий историк литературы без сомнения отметит значение „Вены“ в творчестве А. И. Куприна — отрицательно оно или положительно, — дело будущего». Сам анонимный панегирист «Вены» полагал, или, по крайней мере, утверждал, что влияние «Вены» на творчество Куприна положительно.

Как отразилась «венская» история на положении Куприна, едва ли нужно говорить. Он сам это хорошо чувствовал. В одном недатированном, но, повидимому, относящемся к этому времени письме к А. А. Измайлову Куприн с горечью заметил: «Если бы кто-нибудь брал специальное жалованье, чтобы ставить видных писателей в самое «непристойное»²⁷ положение, то и тот не мог бы так скомпрометировать меня при всей моей доверчивости, как это делаю я».

В 1914 г., в начале империалистической войны, Куприн был призван на военную службу как офицер запаса, но резкое ухудшение здоровья вынудило его вскоре покинуть службу.

К империалистической войне Куприн отнесся, как многие буржуазные интеллигенты: забыв то, что за год до этого писал он в «Лазурных берегах» о своей прекрасной родине, судьба которой находится «в руках рыцарей из-под темной звезды», в ряде статей он проводил мысль о народном характере войны, о том, что эта война — «последняя», что задача интеллигенции бороться за монархическую Россию.²⁸ Вместе с тем в это же время Куприн написал один

²⁶ Г. С. Гор сообщил мне, со слов В. Регинина, что автором «Десятилетия ресторана „Вена“» был последний.

²⁷ В оригинале — прилагательное, неудобное для печати.

²⁸ А. И. Куприн. О войне. — Альманах «Война», М., 1914, стр. 11—14.

из самых замечательных по силе критического реализма своих рассказов «Канталупы», в котором почти с такой же силой, как некогда в «Поединке» разоблачал гнилость царской армии, — показывал темные проделки крупных работников правительственного аппарата.

Э. М. Ротштейн справедливо заметил по этому поводу, что «субъективно стремясь содействовать счастью и благу своей родины и народа, Куприн по существу стал глашатаям и пособником империализма, который он искренно разоблачал в своих художественных произведениях».²⁹

В творчестве Куприна в 1915—1916 г. замечается новое и странное для него явление. Ранее трезвый реалист и противник «таинственной» тематики, он пишет в 1915 г. «спиритический» рассказ «Неизъяснимое», в 1916 г. — «Воля», в 1917 г. — «Каждое желание», — произведения, свидетельствовавшие о начавшемся резком упадке его художественного дарования.

Несмотря на то, что печатал Куприн в эти годы довольно много (в течение 1913—1917 гг. вышло четыре тома его произведений), он постепенно перестал быть писателем первого ряда. Особенно заметно было это во время его 25-летнего юбилея в декабре 1914 г. Хотя по его просьбе никаких публичных чествований не было из-за происшедшей тогда войны, однако в ряде журналов и газет появились посвященные ему статьи.

Подводя итоги своего юбилея, Куприн правильно почувствовал, что перестал быть нужным писателем: «... Меня положили уже на полочку. Взяли книжку, прочитали в свое время, кто — по моде, кто — с любовью, переплели, поставили в шкаф и забыли, и только на Рождестве разве смахнут пыль с переплета: такое печальное чувство наполняет меня, когда я оглядываю томы своих сочинений», — говорил он своему приятелю, журналисту В. Регинину.³⁰

В сущности, то, что понял Куприн в конце 1914 г., было результатом его отхода от революции, от М. Горького, от передовых течений в литературе. Отход от прогрессивных идей, питавших его реалистическое творчество, болезненно

²⁹ Ротштейн, стр. 318.

³⁰ Вас. Регинин. У А. И. Куприна после юбилея. — Биржевые ведомости (веч. вып.), 1915, 17 января, № 14617, стр. 2.

сказался на последующих произведениях Куприна. В течение периода после 1906 г. он держался в основном тем, что в полосу господства декадентства и «могильных настроений» был писателем-реалистом, писателем-жизнелюбом. Но порою и он уступал модной эротике, нередко близкой к порнографии, и писал такие антихудожественные произведения, как «Морская болезнь» (1908), вызвавшая справедливые нарекания у М. Горького, или реакционно звучащая в тогдашних условиях утопия «Королевский парк».

Противоречивый, плохо понимавший тенденции исторического развития России, Куприн к 1917 г. перестал быть актуальной литературной величиной, хотя и сохранил в глазах рядовых читателей и буржуазной критики значение «генерала от литературы».

Характерно, что возвратившийся на родину Горький не делал, насколько можно судить по дошедшим до нас материалам, новых попыток активно повлиять на Куприна — вернуть его в передовую литературу.

Как и когда встретились они после приезда Горького в Петербург, проявилось ли в чем-нибудь их сближение, — по недостатку данных сказать трудно. Во всяком случае, в мемуарах В. А. Рождественского о Горьком сохранены сведения о том, что осенью 1916 г. у А. М. бывал «вялый, малоподвижный, всегда чего-то стесняющийся А. И. Куприн».³¹ Повидимому, эта стеснительность была того же рода, что и робость и сконфуженность, сквозившие в ответе Куприна на приглашение Горького приехать на Капри.

В тех же воспоминаниях В. А. Рождественского приводятся несколько отзывов Горького о Куприне. Так, характеризуя прозу Бунина, А. М. Горький сказал: «Это вам не милый, рыхлый Александр Иванович Куприн, в чьем даровании есть что-то поистине обворожительно женское, несмотря на все страшные вещи, о которых он пишет». А говоря о Л. Андрееве, Горький произнес пророческие слова: «Русская литература не прощает оторванности от быта. Не принимаются на нашем черноземе столь экзотические цветы. Всему есть историческое возмездие. Вот увидите:

³¹ В. А. Рождественский. А. М. Горький. — Звезда, 1944, № 4, стр. 86.

немудрый, но честный писатель Куприн переживает громкую славу Андреева, и мало кто об этом пожалеет».³²

В октябре 1916 г. Куприн прочел в Баку лекцию «Судьбы русской литературы». Здесь он, естественно, должен был изложить свой взгляд на характер и значение творчества М. Горького.

Вот что, по словам репортера газеты «Баку», сказал тогда Куприн: «Горький, это — буревестник, черной молнии подобный. Он впал только в один грех: его тянула к себе земля и поэтому зачастую он был тенденциозен в ущерб своему огромному таланту. На время он ушел от русской жизни и стал сух. Но вот он снова коснулся родной земли и стал, как и прежде, прекрасным.

«У Горького прекрасный русский язык».³³

Хотя в этом отзыве и слышатся прежние упреки Горькому в тенденциозности, но они не ослабляют общей оценки таланта Горького как «огромного» и «прекрасного».

Для Горького же было ясно, что Куприн уже перестал быть актуальной литературной величиной, что он уже завершает свой писательский путь, — нового, свежего, нужного поднимающейся России в ее борьбе с самодержавием и буржуазией ждать от него нельзя.

³² Там же, стр. 84.

³³ Судьбы русской литературы. (Лекция-беседа А. И. Куприна). — Баку, 1916, 14 октября, № 226, стр. 3.

Глава девятая

РАССКАЗЫ 1900—1916 гг. — «ЯМА»

В 1917 г. вышел двенадцатый том «Собрания сочинений» Куприна в издании «Московского книгоиздательства». Этим томом, содержащим вторую и третью части «Ямы», завершилось издание его сочинений перед Великой Октябрьской социалистической революцией. Этим двенадцатым томом как бы подводился итог его литературной деятельности, как бы кончился большой и главнейший этап его творческого пути.

В сущности же расцвет таланта Куприна относится к 1905—1906 гг., и дальнейшая его литературная деятельность не представляла роста, развития, а была только сохранением — не всегда удачным — достигнутого художественного уровня; в идейном же отношении произведения Куприна после 1906 г., за единичными исключениями, слабее созданного им ранее. И сам Куприн в одном из интервью 1909 г. сказал, что «первой своей настоящей вещью» считает «Поединок», а лучшей «Штабс-капитана Рыбникова».¹

К 1906—1907 гг. у Куприна окончательно сложилось творческое мировоззрение, которое в значительной мере сказывалось и в произведениях предшествующего периода и суть которого сводилась к следующему.

Человек воспринимается им не как часть коллектива и не в коллективе. Понятие коллектива как-то не укладывается в художественном сознании Куприна. Даже в своем

¹ С. Я. Беседа с А. И. Куприным. — Одесские новости, 1909, № 7934.

лучшем программном произведении — в притче «Искусство» — Куприн воплощает идею революционного искусства в фигуре раба, усилиями всех мышц тела срывающего с себя оковы. Самый образ раба допускает в данном случае различное толкование. Первое состоит в том, что раб, разрывающий оковы, — это народные массы, свергающие давящий их политический и социальный гнет. Однако возможно и другое понимание этого образа: раб — это личность, восставшая против спутавших ее условностей, предрассудков, стремящаяся к свободе, в том значении слова, какое вкладывал в нее Назанский в «Поединке». И это второе толкование скорее всего отвечает замыслу Куприна, — т. е. революция мыслится им не как объединенные политические усилия массы, коллектива, а как индивидуальный процесс «освобождения» личности. Принцип индивидуалистического восприятия жизни у Куприна остается неизменным на всем протяжении творчества. Психология человека в коллективе ему недоступна и непонятна. Поэтому все его герои, в особенности те, которым он сочувствует, которых он изображает с симпатией, — герои-одиночки, не черпающие силы в коллективе и не нуждающиеся в помощи коллектива. Здесь для подтверждения сказанного незначительно даже перечислять отдельные произведения Куприна — достаточно вспомнить любое.

Взятый вне коллектива человек стоит у Куприна перед огромным морем непонятого, чуждого и враждебного, что представляет «жизнь». Само существование человека прекрасно: прекрасна природа, прекрасно ощущение своего человеческого «я», прекрасна любовь к людям вообще, к отдельному человеку, к себе, прекрасно искусство, но за всем этим стоят какие-то враждебные человеку силы, которые он не в состоянии разгадать и понять. В рассказе «Искушение» Куприн, делая вид, что излагает взгляд на мир какого-то случайного собеседника, шестидесятилетнего старика, любителя «пофилософствовать», на самом деле развивает собственные идеи, в том или ином виде находившие отражение и в других его произведениях. Главная мысль этого рассказа — что «есть Некто или Нечто, что сильнее судьбы и мира. Если оно Нечто, то я назвал бы его законом логической нелепости или нелепой логичности, как хотите... Я не умею выразиться. Если же это Некто, то это такой Дух, перед кото-

рым наш библейский дьявол и романтический сатана оказываются маленькими шутниками и совсем незлобивыми проходимцами. Вообразите себе власть над миром, почти божескую, и рядом отчаянную мальчишескую проказливость, не ведающую ни зла ни добра, но всегда беспощадно жестокою, остроумною и, чорт возьми, как-то странно справедливою» (VI, 75).

В другом рассказе — «Вечерний гость» — проводится та же идея существования каких-то наджизненных, непонятных человеку сил. «Я не знаю ни очереди событий, ни времени их прихода, ни их стихийной силы, ни их темного значения. . . Мимо нас проходит грозное божество, располагающее случаями и возможностями. . . Это необъяснимо, таинственно и, благодаря своей простоте, прямо ужасно. . . Нет, я ничего, ничего не понимаю в этой жизни. Я с покорным, тупым страхом вытягиваю свой билет и сам не могу прочесть его непонятной надписи. . . О! как непонятны для нас, как таинственны, как странны самые простые жизненные явления. А мы, не постигая их, не умея в них разобраться, громоздим их одно на другое, переплетаем, связываем, ушиваем, мы устраиваем знакомства и браки, пишем книги, говорим проповеди, учреждаем министерства, ведем войну и торговлю, делаем новые изобретения, и потом создаем историю! И каждый раз, когда я думаю об огромности, сложности, непонятности и стихийной случайности этого общего сплетения жизней, то моя собственная жизнь представляется мне ничтожной пылинкой, потерявшейся в вихре урагана. . .» (VI, 319, 320, 323, 324).

Эти мысли у Куприна не единичны и не случайны. В каждом почти произведении его — и 1890-х, и последующих годов — мы встречаем образ «какой-то сверхъестественной силы» (I, 59), «какой-то чудовищной силы» (III, 232) и т. д.

И все же — жизнь прекрасна. . .

Почему у Куприна, писателя-демократа, сложилась такая противоречивая философия, откуда идут ее истоки, — понять нетрудно. Незнакомство с научной философией, материалистически объясняющей кажущуюся непознаваемость мира, искреннее, добросовестное убеждение в том, что его собственные суждения вполне отражают объективную картину жизненного процесса, и непривычка научно дисциплинировать свое мышление и воображение, подчи-

нять их «общей идее» — все это приводило Куприна к пониманию мира как стихийной, слепой «реки жизни».

Куприн считал, что жизнь прекрасна именно тем, что она есть утверждение личности в этом стихийном, хаотическом водовороте «чудовищной», «сверхъестественной силы», что она есть борьба человека с враждебной ему тенденцией непонятного «Некто» или «Нечто». Жизнь прекрасна тем, что она есть движение: «Окостенение человека в какой-нибудь определенной, окончательной форме уже не есть жизнь, а первый симптом смерти, так как жизнь заключается в непрерывности движения» (VI, 321).

И именно в жизни-движении и состоит настоящее человеческое счастье. Эта мысль проводится Куприным в ряде произведений, но особенно отчетливо выражена она в аллегорическом рассказе «Собачье счастье». В клетку «собачников» попадает несколько собак разных пород и возрастов. Их везут на живодерню. Белый пудель проповедует покорность неизбежности, покорность людям, которые здесь, в рассказе о собаках, играют роль «какой-то сверхъестественной силы», «какой-то безымянной беспощадной силы», соответствующей року в человеческой жизни. Но фиолетовый пес, который держит себя в собачьей компании вызывающе дерзко, — «он был зол, голоден, отважен и силен», — показывает белому пуделю, в чьих руках собачье счастье: он перескакивает через забор живодерни, оставив на его гвоздях «добрую половину своего бока», и спасает свою жизнь. «Старый белый пудель долго глядел ему вслед. Он понял свою ошибку» (VI, 328, 334, 335).

«Ошибка старого пуделя» — покорность, смирение. «Собачье счастье» — борьба за жизнь, воля к жизни. Но опять-таки борьба Куприным утверждается только в единоличной форме, в индивидуальном проявлении. «Фиолетовый пес» — это сильные, волевые одиночки, руководствующие жестоким принципом буржуазной морали — «каждый за себя».

Рассказы Куприна 1900—1916 гг. состоят из двух прямо противоположных групп: одна — это рассказы о покорности людей, о неизбежности их гибели или об утрате счастья в результате подчинения «какой-то чудовищной, стихийной, слепой, непонятной и т. д. силе» («Болото», «Черный туман», «В цирке», «Белые ночи», «В трамвае»

и пр.); другая — это произведения о людях, поборовших враждебные силы жизни и торжествующих над этими силами («Гамбринус», «Листригоны», «На разъезде», «Собачье счастье»). Рассказов второй категории значительно меньше, и это, очевидно, объясняется тем, что «жизнелюбие» Куприна не всегда есть «жизнеутверждение».

Дело в том, что, признавая огромную роль волевого начала в человеческой жизни, Куприн выдвигал в качестве противоположного начала «случай». Эту мысль он с особенной отчетливостью сформулировал уже на закате своей литературной деятельности в повести «Юнкера»: «Громадная сила — напряженная воля, а сильнее ее на свете только лишь случай».²

В сущности, — по мнению Куприна, — вся жизнь человека зависит от случайности, случайность — это и есть проявление «воли» «какой-то стихийной силы». Этой идеей проникнуты «философские рассказы»: «Вечерний гость», «В трамвае», «Искушение».

«Случай» разбивает человеческую жизнь («Погибшая сила», «С улицы», «Олеся», «Путаница», «Святая любовь», «Ночлег» и т. д.), «случай» просветляет, делает прекрасной даже самую несчастную жизнь («Гранатовый браслет», «Прапорщик армейский», «Сентиментальный роман» и др.), «случай» обрывает преступные поступки («Штабс-капитан Рыбников», «Наталья Давыдовна»).

Больше всего занимает Куприна-писателя тема утверждения человеческой личности в форме любви. Этой теме он уделял внимание, начиная с «Последнего дебюта» (1889) и кончая рассказами поздних лет. Но именно здесь, в группе рассказов о любви, роль «случая» становится особенно заметной, особенно подчеркнутой.

Любви Куприн посвятил в своих произведениях огромное количество строк — лирических и патетических, нежных и исступленных, мудрых и пошлых, гневных и благословляющих, бунтующих и примиряющих, — самых разных, самых неожиданных и никогда не равнодушных. О любви Куприн заставляет размышлять своих героев, заставляет говорить о ней действующих в своих произведениях лиц, говорит о ней от своего имени, пишет о ней в своих интимных письмах. Иногда эти размышления

² А. И. Куприн. Избранные сочинения. М., 1947, стр. 484.

о любви, находящиеся в письмах, так и не переходят, как обычно у него бывало в других случаях, в художественные произведения.

Лучшими произведениями Куприна, посвященными теме любви, являются «Суламифь» и «Гранатовый браслет».

Повесть «Суламифь» представляет обработку библейской «Песни песней», вернее, не обработку, а попытку построить на ее основе сюжетное произведение с трагической развязкой.

Среди религиозных книг Библии «Песнь песней», приписываемая Соломону, стоит особняком. До сих пор среди специалистов нет окончательно принятой и признанной точки зрения на это произведение. Одни считают «Песнь песней» собранием древнееврейских любовных песен, которым искусственно придано некоторое подобие сюжетного развития (любовь девушки к пастуху и насильственный увод ее в царский гарем); другие полагают, что это было просто собрание свадебных песен, нечто вроде обряда свадьбы. Были высказываемы и другие гипотезы. Несомненно, однако, что в основе теперешней «Песни песней» лежит фольклорный песенный материал и что именно эта популярность произведения у древних евреев заставила составителей свода еврейских религиозных книг («канонизаторов Библии») включить туда и «Песнь песней», которая была поэтому искусственно приписана царю Соломону. Простое, реалистическое значение «Песни песней» как сборника лирических народных песен церковные толкователи отвергли и то объясняли это произведение как поэму об иносказательной любви бога к избранному народу, то говорили, что в ней аллегорически изображена любовь Христа к церкви.

Куприн решительно отверг все религиозные истолкования «Песни песней». Его захватила могучая лирика этой поэмы любви. Познакомился он с ней еще в годы своих молодых скитаний; во всяком случае, уже в конце 1890-х годов он цитирует «Песнь песней», берет из нее эпиграфы для своих произведений.

В 1907 г., находясь в Даниловском, Куприн отыскивает в библиотеке Ф. Д. Батюшкова Библию, и под влиянием чтения ее у него возникает замысел «Суламифи». Еще не закончив рассказа «Изумруд», он немедленно же

обращается за справками о «Песни песней» к «Большой энциклопедии» под ред. С. Н. Южакова, но она его не удовлетворяет. В одном из писем Куприн просит Батюшкова прислать ему книги, которые могли бы оказать помощь при разработке задуманного сюжета.

Из многочисленных писем Куприна, в которых отражен ход его работы над «Суламифью», заслуживает внимания отрывок из письма его к В. А. Тихонову от 1 октября 1907 г.: «Теперь роюсь в Библии, Ренане,³ Веселовском,⁴ Пыляеве,⁵ потому что пишу не то историческую поэму, не то легенду, я сам не знаю что — о любви Соломона к Суламифи, дщи Надавля, прекрасной, как завесы Соломона, как шатры Кидарские. . .».⁶

Когда Куприн приступил к писанию «Суламифи», ни размер повести, ни некоторые подробности не были ему ясны. Однако самый процесс писания волновал его в высшей степени:

«„Суламифь“ у меня выйдет больше двух листов. И сцены в ней таковы, что я должен часто выбегать на улицу раздевшись и глотать снег для охлаждения и приведения себя в нормальное состояние.

«Вот так пьеса!».

Наконец, «Суламифь» была закончена и появилась в сборнике «Земля» (вып. 1, 1908) с посвящением И. А. Бунину, затем опускавшимся.

Повесть Куприна вышла в период расцвета реакционной моды на экзотику и эротику, насаждавшейся в русской буржуазной литературе символистами, модернистами и вообще испугавшимися революции литераторами-обывателями. Как произведение, далекое от современности, не связанное с политикой, «Суламифь» была встречена реакционной частью критики очень одобрительно. Однако передовые писатели, боровшиеся с либеральным ренегатством,

³ Из других писем явствует, что речь идет о книгах французского востоковеда Э. Ренана «История израильского народа» и «Песнь песней».

⁴ А. Н. Веселовский. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе. СПб., 1872.

⁵ М. И. Пыляев. Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и употребления. Изд. 3-е, СПб., 1896.

⁶ Центр. Гос. литерат. архив (Москва), ф. 240, оп. 1, ед. хр. 36.

как, например, М. Горький, не разделяли этого восторженного отношения.

В письме к К. П. Пятницкому (февраль 1908 г.), касаясь литературной репутации Л. Андреева, Горький писал: «Его тащат с пьедестала и ставят на его место Куприна. Сей последний — просто болван! Что он пишет! Читали вы Суламифь? Изумительно», — прибавляет он.⁷

Несколько позднее (4 марта 1908 г.) М. Горький снова вспоминает в письме к К. П. Пятницкому повесть Куприна: «Каждый день приносит какой-либо сюрприз — „Суламифь“ Куприна, стихи „модернистов“, интервью Леонида «Андреева», в котором он путает и врет на меня, как на мертвого, статьи Изгоева и других ренегатов — каждый день кто-нибудь встает перед тобой голый и весь в гнилых язвах. Нет терпения! Хочется орать, драться с этой сволочью, топтать ногами эти „неустойчивые психики“. . . Кажется, что все пьяны, сошли с ума».⁸

Двойственное отношение к «Суламифи» сохранилось в критике и до сих пор. В некоторых обзорах деятельности Куприна «Суламифь» в качестве произведения, резко выпадающего из творчества этого «бытописца», как назвал его А. М. Горький, вовсе не упоминается. В других о «Суламифи» говорится вскользь, опять-таки как о вещи, неорганической для Куприна. Между тем она выросла на почве теоретически-философских и литературных интересов Куприна и является развитием его взглядов на любовь, высказывавшихся и в других произведениях и в письмах.

Конечно, прав М. Горький, который понимал реакционный смысл обращения Куприна к теме «Суламифи» и, к тому же, считал, что «Песнь песней» хороша сама по себе и что Куприну незачем было ее трогать. «Суламифь» Куприна в сравнении со своими литературными источниками кажется очень отягощенной археологическими подробностями, множеством имен, экзотических названий и т. д. Порой Куприн сам это чувствовал. Так, например, в письме к Батюшкову, восхищаясь библейской экзотикой,

⁷ М. Горький. Собрание сочинений, т. 29, стр. 54—55; М. Горький. Письма к К. П. Пятницкому, стр. 232.

⁸ М. Горький. Собрание сочинений, т. 29, стр. 57; М. Горький. Письма к К. П. Пятницкому, стр. 234—235.

он среди прочих диковин упоминает «певговое дерево»; однако в «Суламифи» это очень редкое название заменено обычным — «сандаловым деревом».

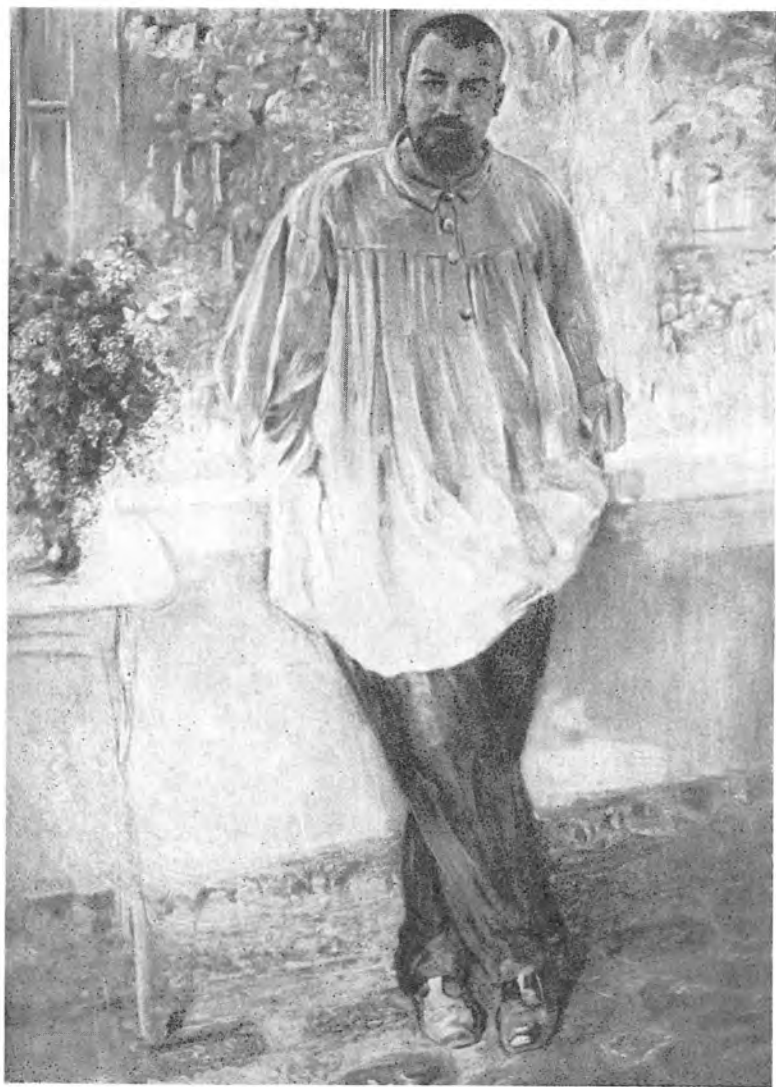
Возможно, что чтение «Саламбо» Флобера укрепило Куприна в любовании экзотическими деталями описываемой им седой древности. Однако «франгузы», которых прислал ему Батюшков, оказали Куприну дурную услугу: в выборе исторических и географических имен и названий Куприн пользовался двумя источниками — Библией и трудами французских археологов; поэтому одни имена и названия в «Суламифи» идут в славяно-русской передаче (транскрипции), например гора Аэрмон (в славянской Библии — Аермон), Ефан Езрахитянин, Еман и т. д.; другие приводятся Куприным в том виде, в каком они взяты из французских авторов, — Иаффа (вм. Иоппия), Тиглат-Пилеазар (вм. Феглаф-Фелласар), Бел-Меродах (вм. Вил Меродах) и т. п. Это смешение различных языковых линий создает впечатление стилистической неслаженности и небрежности.

Впрочем, для Куприна (и его читателей) существенной была основная идея произведения — всесилье любовного чувства, в веках прославившего безвестную пастушку Суламифь.

Той же теме «большой любви, которая повторяется только один раз в тысячу лет» (V, 62), посвящен рассказ «Гранатовый браслет».

Работал над ним Куприн во время своего пребывания в Одессе в 1910 г. Незадолго до этого он похоронил мать, смерть которой сильно повлияла на него: «Ты очень прав, — писал он 6 июля 1910 г. Ф. Д. Батюшкову, — смерть матери это похороны молодости, а в нашем возрасте и поздно». В этом же письме он жалуется: «Стал я как-то глупеть, дорогой мой, стал сентиментален, жалостлив и вял». Еще раньше Куприн писал Батюшкову: «Чувствую, как во мне слабеет интерес к быту» (Письмо от 26 мая 1910 г.).

Все эти переживания отразились на характере рассказа «Гранатовый браслет», суть которого заключается в том, что мелкий чиновник, робкий мечтатель и глубоко чувствующий человек, влюбляется в светскую даму, влюбляется безнадежно, безответно и беззаветно. Однако Куприна привлекло в этой теме не «неравенство состояний»,



А. И. КУПРИН

1912 г.

Портрет работы художника Н. Н. Верхотурова

а стремление показать духовно преображающую, просветляющую силу всепоглощающего чувства любви.

Отправляясь от житейского случая (подробнее об этом см. в главе тринадцатой), Куприн поэтически ассоциировал историю маленького чиновника с одним из самых проникновенных произведений Бетховена. В письме от 15 октября 1910 г. он впервые излагает Ф. Д. Батюшкову сюжет нового произведения и прибавляет: «Пока только придумал эпиграф: „van Beethoven Op. 2 N 2 Largo appassionato“. <...> Но трудно. И дурацкий город Одесса. И почему-то не в охотку пишется».

Сначала работа над новым произведением у него шла туго: «Теперь я пишу „Браслет“, но плохо дается. Главная причина — мое невежество в музыке. Есть op. 2 № 2 Largo appassionato Бетховена, оттуда и вся соль моей повести, а у меня слух деревянный; пришлось запрягать несколько людей, пока не зазубрил. Да и светский тон!» — заканчивает он, намекая на трудность изображения незнакомого ему социального круга (письмо от 21 октября 1910 г.).

Постепенно, однако, Куприн втягивается в работу, и, как у него часто бывало, она его увлекает; но ему очень мешают житейские затруднения («у меня страшный бамбук», — письмо от 26 ноября 1910 г.), неожиданное увлечение лётным делом — в ноябре того же года Куприн летал на самолете — и пр.

Ко всему этому присоединилось еще одно непредвиденное обстоятельство, о котором Куприн сообщал Батюшкову:

«Один наш прежний хозяин судом ищет с меня 300 р. и грозит описать мебель. Повторяю — я вывернусь, но — увы! — для этого придется комкать „Браслет“ — эту очень милую для меня, для других несомненно скучную, очень, очень нежную <вещь>; не знаю, что выдет, но когда я о ней думаю — плачу.

«Недавно рассказываю одной хорошей актрисе — плачу. Скажу одно, что ничего более целомудренного я еще не писал» (письмо от 3 декабря 1910 г.).

В советской критике встречаются довольно холодные отзывы о «Гранатовом браслете» и других произведениях Куприна, разрабатывающих тему любви. Это, возможно, правильно, так как социальной силы критического реализма в этой группе произведений Куприна нет. Дорево-

люционные критики придумали даже особое название для стилистического определения этих повестей и рассказов Куприна — «романтический реализм». Такое название логически несостоятельно и поэтому способно только сбить с правильного пути. В «Гранатовом браслете» и других произведениях этой группы, при общем критико-реалистическом их характере, заметно усилена струя романтическая, создающая особый психологический их колорит. Неслучайно ведь именно в том же 1910 г. говорил Куприн об утрате интереса к быту и о том, что стал сентиментальным.

Вместе с тем нельзя отказать данной группе произведений Куприна в том, что они, и в первую очередь «Гранатовый браслет», касаются глубоких и сильных человеческих переживаний, больших и серьезных человеческих чувств, и в этом заключается их важное общественно-воспитательное значение. Куприн был прав — ничего целомудреннее «Гранатового браслета» он не написал ни до того, ни после.

Появление «Гранатового браслета» в печати не прошло мимо М. Горького; оно примирило его с Куприным, которого несколько лет назад он бранил за «Суламифь». В письме к Е. К. Малиновской он писал: «А какая превосходная вещь „Гранатовый браслет“... Чудесно! И я — рад, я — с праздником! Начинается хорошая литература!».⁹

Тему любви Куприн понимал очень широко. Не только любовь в обычном значении слова включалась им в это понятие, но и любовь родительская («Детский сад») и любовь сыновняя («Святая ложь»).

Он был певцом чистой, здоровой любви, певцом искренним и истинным, несмотря на отдельные срывы.

При всей сложности и противоречивости своего творчества, Куприн на всем протяжении своей литературной деятельности любил человека, любил цельную, неиспорченную буржуазной, мешанской культурой, красивую человеческую личность. Ему были понятны могучие, большие человеческие чувства и страсти. И это сближало его с творчеством великого певца освобожденной человеческой личности — М. Горького.

⁹ ИМЛИ, шифр: ПГ—рл 25-44-45.

Куприна всегда привлекала мужественность. Именно потому он посвятил замечательный цикл «Листригоны» балаклавским рыбакам. «О, милые, простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, обвеянные соленым морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз глядели в лицо смерти, в самые ее зрачки!» — так говорит Куприн о героях своего произведения, крымских рыбаках-греках.

Название этого цикла Куприн объясняет таким образом. Он смотрит на узкое горло балаклавского залива. «В уме моем быстро проносится стих Гомера об узкогорлой черноморской бухте, в которой Одиссей видел кровожадных листригонов» (V, 67). Очевидно, балаклавских рыбаков-греков Куприн в самом деле считал потомками гомеровских людоедов.

Какой же стих пронесся в уме писателя? Очевидно следующий:

Прибыли мы к многовратному граду в стране лестригонов
Ламосу.¹⁰

(Одиссея, 10,81—82)

Однако Куприн совершенно произвольно поместил страну гомеровских лестригонов в северо-западную часть Крымского полуострова. У Гомера сказано, что Одиссей сперва прибыл на один из Эолийских островов, где его, как ненавистного богам человека, отказались принять; он вынужден был вновь сесть со своими людьми на корабли и на седьмые сутки прибыл в страну лестригонов в город Ламос. Эолийскими островами в древние времена назывались нынешние Липарские острова, находящиеся к северу от Сицилии. Город Ламос и страна лестригонов, как указывают филологи, помещались античными комментаторами Гомера либо на северном берегу Сицилии, либо в Лациуме, средней части западной Италии. Таким образом, с людоедами-лестригонами Гомера листригоны Куприна ничего общего не имели.

¹⁰ Греческое название жителей страны, куда прибыл Одиссей, — лестригоны — в новогреческом произношении звучит «листригоны». Балаклавские греки, от которых Куприн узнал о лестригонах как первых якобы поселенцах тех мест, говорят на новогреческом языке. Слово «лестригоны» происходит от существительного «lestrikos» — морской разбойник, пират.

Едва ли сам Куприн придумал гомеровских лестригонов как предков своих знакомых балаклавских рыбаков. Повидимому, кто-то из местных греческих интеллигентов-краеведов из суетного желания доказать древность пребывания греков в Крыму создал гипотезу о происхождении балаклавцев от лестригонов. Куприну это ненаучное, льстившее местному самолюбию предположение стало известно и подало повод назвать цикл очерков о рыбаках из Балаклавы именем (хотя и слегка искаженным) гомеровских лестригонов.

С любовью и уважением изображает Куприн всех этих листригонов — Юру Паратино, Ваню Андруцаки, Сашку Аргириди, Христо, Яни, Федора из Оленза, Колю Констанди, того самого Колю Костанди, который тридцать лет спустя, когда Куприн вернулся на родину из эмиграции, послал старому писателю приветственную телеграмму.

Но к этой любви и уважению у Куприна примешивается и легкая ирония и самое неприкрытое любовование этими цельными оригинальными натурами. Вот одна из характеристик листригонов:

«Известно, что грек — всегда грек и, значит, прежде всего, любопытен. Правда, в балаклавских греках чувствуется, кроме примеси позднейшей генуэзской крови, и еще какая-то таинственная, древняя, — почем знать, — может быть, даже скифская кровь — кровь первобытных обитателей этого разбойничьего и рыбацкого гнезда. Среди них увидишь много рослых, сильных и самоуверенных фигур; попадаются правильные, благородные лица; нередко встречаются блондины и даже голубоглазые; балаклавцы не жадны, не услужливы, держатся с достоинством, в море отважны, хотя и без чепепого риска, хорошие товарищи и крепко исполняют данное слово. Положительно, это — особая, исключительная порода греков, сохранившаяся, главным образом, потому, что их предки чуть не сотнями поколений родились, жили и умирали в своем городишке, заключая браки лишь между соседями. Однако надо сознаться, что греки-колонизаторы оставили в их душах самую свою типичную черту, которой они отличались еще при Перикле, — любопытство и страсть к новостям» (V, 98—99).

О том, как он собирал материал для «Листригонов», как знакомился с своеобразным, столь непохожим на

обычную действительность царской России укладом и бытом балаклавского рыбацкого населения, Куприн рассказал в одном интервью в 1909 г.:

«В бытность мою в Балаклаве я близко сошелся с черноморскими рыбаками, среди которых у меня было много друзей. Я присматривался к их жизни, принимал непосредственное участие в их занятии... Мы выезжали в море за рыбой, встречались в рыбацких кофейнях и „бодегах“,¹¹ плели вместе сети и чинили рыболовные снасти.

«Это было в знаменитые октябрьские дни...

«Жизнь там, среди рыбаков, дала мне неисчерпаемый источник сюжетов для моих произведений. Пока я затронул их лишь слегка в маленьких очерках об этом местечке. Но впоследствии собираюсь посвятить им целую повесть».¹²

Повести о балаклавских рыбаках Куприн не написал, и «Листригоны» так и остались единственным литературным документом об этом его увлечении.

О балаклавских рыбаках Куприн помнил очень долго. Переехав в Одессу в 1909 г., он пишет Батюшкову: «Знаком с рыбаками. Хожу в море под парусами на скумбрию и камбалу» (письмо от 21 сентября 1909 г.). Но одесские рыбаки ему не пришлись по душе: «С рыбаками поддерживаю знакомство... Рыбаки не те, что в Балаклаве» (письмо от 29 мая 1910 г.). Интерес Куприна к ниццским и марсельским рыбакам, проявившийся у него во время путешествия в 1912 г., связан со старыми воспоминаниями о рыбаках из Балаклавы.

В свою очередь «балаклавские листригоны» долго вспоминали своего приятеля. Советский украинский поэт Максим Рыльский в стихотворении 1936 г. «Несвоевременная лирика» передает эпизод из своего пребывания на крымском побережье:

Рыбак молчит, латая невод вялый,
Табачный дым вдохнув разок один,
Он глухо говорит, что с ним, бывало,
Рыбачил здесь когда-то сам Куприн.
«Вот был писатель! Нынешним не ровня!...».

¹¹ Bottega (итал.) — лавочка.

¹² Вас. Регинин. Куприн о своих планах. — Биржевые ведомости, 1909, № 10984.

К очеркам о «листригонах» довольно близки, — правда, не объединенные в особый цикл, — рассказы и очерки Куприна о летчиках и воздухоплавателях.

Вопрос «полетит ли человек?» очень волновал его с давних пор. В произведении, жанровая природа которого может быть определена и как «стихотворение в прозе» и как «философский очерк» и которое называется «Сны» (1914), Куприн рассказывает, что уже в раннем детстве ему снились сны о том, что он летает. У него даже сложилась фантастическая теория о том, что некогда люди летали и сны являются какими-то смутными воспоминаниями об этом отдаленном времени.

Позднее полеты на воздушном шаре и на аэроплане привлекли его именно этой смелой идеей о летающем человеке. В сентябре 1909 г. Куприн совершил полет на воздушном шаре «Россия», пилотировавшемся известным в свое время «универсальным спортсменом» С. И. Уточкиным. Свои переживания и ощущения он описал в очерке «Над землей».

В ноябре 1910 г. Куприн поднялся на самолете под водительством бывшего борца, а затем летчика И. Заикина. Вследствие недостаточного опыта летчика полет закончился катастрофой: аэроплан был разбит, но и Куприн и Заикин остались живы. До петербургских друзей Куприна дошли слухи о том, что он при падении самолета расшибся. Несколько позднее он описал свои впечатления в небольшом очерке «Мой полет».¹³ Однако этот очерк, предназначенный для публики и имевший целью оправдать Заикина, которому грозила перспектива уплатить стоимость самолета, не давал полной картины впечатлений Куприна. Интереснее его письмо к Ф. Д. Батюшкову, написанное через несколько дней после полета и отражавшее его разочарование в летном деле (письмо от второй половины ноября 1910 г.).

В этом письме особенно существен для характеристики отношения Куприна к полетам пункт: «я убедился, что человек никогда не полетит». Казалось бы, Куприн

¹³ Синий журнал, 1911, № 3. Перепечатана в «Затерянных и несобранных произведениях» Куприна (стр. 254—257).

полностью разуверился в своем прежнем преклонении перед летающим человеком.

Однако, живя в Гатчине, вблизи от аэродрома, Куприн познакомился с военными летчиками, и постепенно его захватила отважная, полная постоянного риска и не менее постоянного равнодушия к смерти работа «людей-птиц». В 1913 г. он помещает в местной газете «Гатчина» стихотворение «Памяти Цама», посвященное гибели его знакомого летчика. В 1914 г., уже во время империалистической войны, Куприн публикует философский очерк «Сны», который заканчивается гордыми словами: «Человек летал, человек полетит. Человек пришел в мир для безмерной свободы, творчества и счастья».

К теме о летающем человеке Куприн не раз возвращается позднее.

К 1919 г. относится работа его над рассказом «Волшебный ковер» (об одном из первых летчиков, Сантос-Дюмоне), около этого же времени были написаны очерки «Люди-птицы», «Потерянное сердце» и др.

Что же так привлекало к летчикам Куприна 10-х годов, грузного, уже усталого, в значительной мере утратившего прежнюю жажду все узнать, все видеть, все проверить на себе? В очерке «Люди-птицы», посвященном описанию полета на военном аэроплане, повидимому в 1915—1916 г., Куприн дал сжатую, мастерскую характеристику летчиков: «Я люблю их общество. Приятно созерцать эту молодость, не знающую ни оглядки на прошлое, ни страха за будущее, ни разочарований, ни спасительного благоразумия. Радостен вид цветущего могучего здоровья, прошедшего через самый взыскательный медицинский контроль. Постоянный риск, ежедневная возможность разбиться, искалечиться, умереть, любимый и опасный труд на свежем воздухе, вечная напряженность внимания, недоступные большинству людей ощущения страшной высоты, глубины и упоительной легкости дыхания, собственной невесомости и чудовищной быстроты, — это как бы выжигает, вытравливает из души настоящего летчика обычные низменные чувства — зависть, скупость, трусость, мелочность, сварливость, хвастовство, ложь, — и в ней остается чистое золото. Беседа летчиков всегда живая, непринужденная и увлекательная, разговор редко о себе, никогда о своих личных подвиги-

гах. Нет и тени презрения к низшему роду оружия, как раньше это было в кавалерии, в гвардии и во флоте, хотя перевод в „земную“ армию страшит летчика в сотни раз более, чем смерть. Нет насмешки по отношению к слабому, к неспособному, к неудачнику. Наивысшее развитие чувства товарищества. Умилительная преданность ученика учителю. И как прекрасна в этих сверхъестественных людях-птицах, дерзко попирающих всемирные законы — самосохранения и земного тяготения, как живописна в них беспечная и благородная, страстная и веселая, какая-то солнечная и воздушная любовь к жизни!».

Таким образом, в летчиках Куприна привлекали черты, близкие к характеру листригонов, — мужественность, душевное и физическое здоровье, чувство дружбы, сила воли. Особенно сила воли.

Силу воли, как было показано выше, Куприн считал одним из могущественнейших средств борьбы с «чудовищной», «сверхъестественной» силой, вносящей хаос и путаницу в жизнь человека, в жизнь людей.

Было бы ошибочно видеть в часто употреблявшихся Куприным словах «какая-то чудовищная, сверхъестественная сила», «какая-то безымянная и беспощадная сила», «Нечто» или «Некто» — выражение его религиозности. Несмотря на то, что он пел в церковном хоре и был одно время псаломщиком, даже собирался в монастырь, все же Куприн был человеком нерелигиозным.

В 1908 г. в № 1 газеты «Свободная молва» была помещена анкета «Религия и освободительное движение». Ответ Куприна заслуживает внимания:

«Современный упадок религии, если таковой признавать, не может отразиться на художественном творчестве.

«Я не знаю другой религиозной идеи, как уважение к своему „я“, отсюда аристократизм духа и надежды будущего. Разве может голая идея религии, потерявшая давно уже всю поэтическую и таинственную прелесть, сковать мое „Я“? Не „я“ Ницше, но „я“, спускающееся с неба, широко понимающее все, все прощающее, все любящее и на все легко смотрящее.

«Религия — выдумка, искусство — жизнь. . .».

Как видно, церковной религии, даже религии деистически-философской, Куприн не признавал. Но за разго-

ворами об «аристократии духа» и «надеждами на будущее», т. е. надеждами на «будущую власть гения, добровольно приемлемую», о которой он подробно писал в письме к Ф. Д. Батюшкову из Даниловского в 1906 г. и о которой вскользь упомянул в очерке «О том, как я видел Толстого на пароходе „Св. Николай“», — за этими разговорами нельзя не почувствовать анархо-индивидуалистических идей, враждебных ясной и прямой линии научного социализма, стройному учению диалектического материализма. «Антирелигиозность» Куприна — идеалистического, а не материалистического характера.

Среди произведений Куприна 1900—1916 гг. особо важное место занимает небольшой рассказ «Попрыгунья-стрекоза». Здесь впервые — и, кажется, единственный раз — он поставил существеннейший вопрос в жизни русской интеллигенции между двумя революциями — 1905 и 1917 гг.

Три приятеля — рассказчик, занимавшийся живописью, Валериан Александрович, писавший символические стихи, и Васька, увлекавшийся Вагнером и игравший на старых, разбитых, с пожелтевшими клавишами, клавикордах призыв Тристана к Изольде, — попадают на елку в сельскую школу и слушают инсценировку басни «Стрекоза и муравей». Вся эта постановка и в особенности исполненная хором «мораль» басни:

Ты все пела — это дело,
Так поди же попляши,
Так поди же, так поди же,
Так поди же попляши, —

произвели на рассказчика потрясающее впечатление.

«Мне вовсе не трудно сознаться в том, что в это время у меня волосы стали дыбом, как стеклянные трубки, и мне казалось, что глаза этой детворы и глаза всех набившихся битком в школу мужиков и баб устремлены только на меня, и даже больше, — что глаза полтора-миллионов глядят на меня, точно повторяя эту проклятую фразу: „Ты все пела, это — дело, так поди же попляши. Так поди же попляши“».

«Не знаю, как долго тянулось это монотонное, журчащее и в то же время какое-то злое и язвительное причитание. Но помню ясно, что в те минуты тяжелая,

печальная и страшная мысль точно разверзлась в моем уме. „Вот, — думал я: — стоим мы, малая кучка интеллигентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. Наша поэзия — смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись — для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наше богослужение и богостроительство — сплошная блажь для него, верующего одинаково свято и в Параскеву-Пятницу и в лешего с басшником, который водится в бане. Наша музыка кажется ему скучным шумом. Наша наука недостаточна ему. Наш сложный труд смешон и жалок ему, так мудро, терпеливо и просто оплодотворяющему жестокое лоно природы. Да. В страшный день ответа, что мы скажем этому ребенку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: „Я все пела“. И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: „Так поди же попляши“...» (VI, 271).

Задав себе этот важнейший, этот трагичнейший вопрос, — а в том, что этот вопрос стоял и перед ним, сомневаться не приходится, — Куприн ответа не нашел и, к сожалению, не стал искать. Гораздо легче, «красивее» и покойнее было быть в позиции «попрыгуны-стрелы», в позиции интеллигентов, осознавших свой роковой разрыв с народом и не находящих выхода из этого положения, чем понять, что единственное решение вопроса — стать в ряды подлинных борцов за интересы народа, в ряды революционеров. И Куприн так и предпочел остаться в роли «кающегося», но «не знающего исхода» интеллигента.

Отношение Куприна к России было сложное. Он очень любил родину, Россию. «Я люблю Россию и привык к ее земле. Мне и моим писаниям она дает силу... Я с радостью провожу время в простой русской деревне: поле, лес, мужики, хороводы, охота, рыбная ловля, простота, размах русской природы...».¹⁴ Он часто говорит о «прекрасной и несуразной родине» (VII, 35), об «удивитель-

¹⁴ Вас. Регинин. У А. И. Куприна. — Петербургская газета, 1908, 24 августа, № 232.

ной и несуразной родине» (VII, 164), и хотя в этих словах чувствуется очень своеобразное понимание логики русской истории, все же несомненна огромная, искренняя любовь Куприна к России.

Однако любовь его была, как и весь он, как и все его мировоззрение, полна противоречий. Несмотря на то, что он много ездил по России, встречался со множеством людей разных общественных положений и профессий, по-настоящему, — так, как понимал ее Горький, как понимали ее рядовые рабочие-большевики, — Куприн России не понимал. В его представлении она всегда была сочетанием понятного и непонятного, логического и иррационального, светлого и темного. Часто Куприн определял Россию словами «бедная, прекрасная, удивительная, непонятная родина» (VIII, 248). В рассуждениях учителя Астреина («Мелюзга», 1907) о русском народе читатель сразу узнает мысли и фразеологию Куприна, узнает дальнейшие вариации на темы, которые еще в «Молохе» развивали Бобров и доктор Гольдберг. Но с не меньшим правом можно сказать, что и в нигилистических рассуждениях другого героя рассказа «Мелюзга», фельдшера Смирнова, звучат слова и проводятся идеи, близкие Куприну.

Фантазер Астреин утверждает: «Стремление к чуду, жажда чуда — проходит через всю русскую историю» (III, 161—162); и в других произведениях Куприна мы находим аналогичные мысли.

В фантазии «Сны» (1905), в которой речь идет от имени Куприна, в той самой фантазии, которая завершается цитированными выше словами: «Товарищи! Идет день свободы!» и т. д., — находятся строки совершенно в духе Астреина: «Чудится мне, что однажды ночью или днем, среди пожаров, насилия, крови и стонов раздастся над миром чье-то спокойное, мудрое, тяжелое слово — понятное и радостное слово. И все проснутся, вздохнут глубоко и прозреют. И сами собой опустятся взведенные ружья, от стыда покраснеют лица сытых, светом загорятся лица недоверчивых и слабых, и там, где была кровь, вырастут прекрасные цветы, из которых мы сплетем венки на могилы мучеников» (VIII, 249).

Циник Смирнов говорит: «Кто только не знает этот добрый, старый, верный русский народ... И никто ничего

не понимает: ни вы, ни я, ни поп, ни дьякон, ни помещик, ни урядник, ни чорт, ни дьявол, ни сам мужик. Душа народа! Душа этого народа так же темна для нас, как душа коровы, если вы хотите знать!» (III, 163). А вот отрывок из письма Куприна к Ф. Д. Батюшкову от 29 октября 1907 г., т. е. как раз того времени, когда он писал рассказ «Мелюзга»: «Ночь. Сегодня в Никифорове праздник и ярмарка. По дороге мимо ворот ползет окоряч наш добрый, милый, наивный, славный русский народ и вопит матерные слова. Ив. Ал. <Бунин> время от времени выходит на крыльцо и палит в воздух с воспитательными целями». Нельзя не узнать в этом злом и презрительном отрывке злой и презрительной клеветы фельдшера Смирнова: «У русского народа нет истории... Наш народ, каким был во время Владимира Красного-Солнышка, таким и остался по сие время... Да, если хотите знать, и никакого русского народа нет. И России никакой нет!..» (III, 162).

Несколько раньше, в упоминавшейся уже статье из «Neue Freie Presse» — «Армия и революция в России» (1906, 8 сентября, № 15103, стр. 2—3) — Куприн писал: «Всеобщий русский бунт — такое явление, при одной мысли о котором охватывает ужас, явление, которого не знала история и представить себе которое бессильно воображение европейца». Нарисовав далее картины будущей русской революции, Куприн, совсем в духе Назанского и Смирнова, пишет поистине страшные слова: «И на этих руинах вчерашний раб, опьяненный и покрытый кровью, при зареве горящих зданий, будет плясать с куском человеческого мяса в руке». Он считает, что революция должна быть подавлена «героем»: «Русский народ, который родил Петра Великого, — пишет Куприн, — может произвести нового Наполеона».

И, как заурядный «либеральный ренегат» после 1905 г., Куприн завершает статью апелляцией к «благоразумию» царского правительства: «Но есть и другой выход, — мирный и, как я верю, более надежный. Правительство должно сделать максимальные уступки народной свободе».

Так хаотически противоречиво и уродливо-жестoko представлялась Куприну, автору «Поединка» и «Событий в Севастополе», всего лишь через один год, под

влиянием аграрных волнений 1905—1906 гг., судьба его родины.

На протяжении настоящей книги нам не раз приходилось по различным поводам цитировать подобные противоречивые высказывания Куприна о родине и о русском народе. Еще бо́льшая противоречивость была проявлена им в оценке февральской и — особенно — Великой Октябрьской социалистической революции, о чем будет сказано в следующей главе. Именно в этой противоречивости мировоззрения Куприна, в том, что Куприн был способен занимать позицию как циника-нигилиста Смирнова, так и прекраснодушного фантазера Астреина, и заключались причины дальнейшего отхода его от прогрессивной линии в литературе, причины того, что он стал эмигрантом. А эта способность совмещать такие противоречивые точки зрения была чертой, присущей не одному только Куприну, но и огромной массе мелкобуржуазной интеллигенции, которая, по своему двойственному характеру в общественном процессе, колебалась между буржуазией и пролетариатом, то тянулась к народу, то противопоставляла себя ему.

На характере произведений Куприна 1906—1916 гг. с особенной силой сказался его отход от Горького, от передовых демократических позиций, нежелание серьезно учиться, пренебрежение к теоретическому мышлению, «аристократическое», как он считал, а по существу обывательское презрение к «политике». В качестве иллюстрации сказанного приведем два высказывания Куприна:

«Нет более безнадежного вида помешательства, чем помешательство политическое» (письмо к Ф. Д. Батюшкову от 15 октября 1910 г.).

«Из всех родов, видов, сортов и пород людей самая гнусная — теоретики. Поменьше бы их!». ¹⁵

Между тем сам Куприн был склонен к теоретизированию, к философствованию. В его повестях и рассказах, в «философских очерках» вроде «Вечернего гостя» и «В трамвае» встречается то самое теоретизирование, против которого так грубо выступил он в приведенной выше новогодней записи.

¹⁵ А. И. Куприн. Новогодняя записка. — Огонек, 1913, № 1.

Непониманием законов общественного развития, признанием неизменности человеческой природы объясняется неудача самого крупного по объему и наименее сохранившего для советского читателя значение произведения Куприна — повести «Яма».

Повесть эта посвящена Куприным «юношеству и матерям». Исходя из глубокой убежденности в неизбежности буржуазного социального строя и форм буржуазного быта — брака, семьи, отношений полов и т. д., — Куприн вместе с тем полагал, что своей «Ямой» он может в какой-то мере помочь и несчастным обитательницам публичных домов, и юношеству, и матерям. Но чем помочь, не знал не только главный герой «Ямы» репортер Платонов — не знал и сам Куприн.

И свидетельством самой жалкой беспомощности Куприна в решении проблем, поставленных в «Яме», является его ответ на письмо одного из читателей, обратившихся к нему с вопросом: «что же надо делать?».

В этом письме, написанном уже после Великой Октябрьской социалистической революции некоему П. И. Иванову, Куприн признавался:

«Увы! На Ваше милое, искреннее письмо я могу ответить только тем, чем ответил Платонов Жене: „не знаю“. Мое дело подвести доброго, впечатлительного, честного человека к какому-нибудь краю жизни и сказать: вот, и здесь ты жил, но равнодушно, невнимательно; посмотри же, понюхай, прислушайся, а потом подумай и делай, как хочешь, по чести, совести и рассудку...».

Вместе с тем Куприн понимал недостаточность подобной позиции для писателя. На это намекал пост-скрипtum в том же письме:

«И по секрету Вам скажу: в учителя жизни я не годюсь: сам всю свою жизнь исковеркал как мог. Для многих читателей я просто добрый товарищ и занятный рассказчик. И все».

Письмо Куприна к П. И. Иванову представляет самое очевидное свидетельство непонимания причин и сущности того позорного явления классового общества, какое составляет проституция. Куприн считал, что если проституция существует, как он говорит в письме, десять тысяч лет, то она будет существовать вечно. Он не понимал, что проституция — результат отвратительного

устройства общества и, в основном, капиталистического общества, когда необеспеченность громадных масс трудящихся лишает их возможности вступать в брак и когда буржуазно-капиталистическая извращенная психология толкает «предпринимательство» и в данную область, сулящую огромные барыши лицам, занимающимся содержанием публичных домов. Куприн не понимал, что если он желает помочь всем этим несчастным Женькам, Манькам Беленьким, Манькам Маленьким, Манькам скандалисткам, Любкам, Катькам Толстым и т. д., то надо не отвечать «не знаю», а бороться с тем гнусным строем, который эксплуатирует этих женщин, который неизбежно создает условия для их эксплуатации, который вообще построен на эксплуатации человека человеком. Куприн не понимал, что вопрос об освобождении проституток от ига публичных домов и уличной проституции является только маленькой частью большого вопроса об освобождении трудящихся от ига капитала. Куприн не понимал, что победа социальной революции принесет с собой решение вопроса, на который и его герой, репортер Платонов, и сам он отвечали беспомощным «не знаю!».

Чем же объяснить, что Куприн так много времени посвятил писанию этой повести, самого большого по размеру из всех его произведений, отнявшего у него столько нервной энергии, столько творческих сил? Хотя иногда у него и вырывались признания вроде следующего: «Если бы ты знал, как мне противно и трудно было опять приняться за „Яму“ — так она мне надоела. Право: точно меня опять заставляют чистить помойку!» (письмо к Ф. Д. Батюшкову от 29 мая 1910 г.), — но все-таки он придавал «Яме» большое значение. Веря в незыблемость буржуазного строя, надеясь на «чудо», на то, что «сами собою опустятся взведенные курки... вчерашний раб скажет: нет больше рабства. И господин скажет: нет в мире господина, кроме человека!» (VIII, 249—250), Куприн придавал своей повести не свойственную ей роль — книги, которая нравственно потрясет «юношество и матерей», книги, которая произведет переворот в данной области.

Письмо его к П. И. Иванову является свидетельством душевного краха Куприна: его признание «Ямы» книгой

неудавшейся равносильно признанию неудачи всего своего писательского пути. И трагической сломленностью проникнуты строки пост-скриптума: «в учителя жизни я не гожусь: сам всю свою жизнь исковеркал как мог... я просто <...> занятный рассказчик».

Приходится пожалеть, что «Яму» Куприн предпочел другому своему замыслу — роману «Нищие», или «Нищие духом», который увлекал его в период окончания «Поединка».

Уже в 1905 г. Куприн рассказывал М. Горькому о новозадуманном романе и жаловался, что смерть Ромашова на дуэли лишила автора возможности писать о его дальнейшей судьбе.

М. К. Куприна-Иорданская вспоминала о том, как сообщил ей Куприн о замысле «Нищих».

«Я... не могу еще оторваться от Ромашова. Я вижу, как, выздоровев после тяжелой раны, он уходит в запас, вижу, как на станции Проскурово его провожают только двое-трое однополчан, он садится в поезд и, полный надежд, едет, как ему кажется, навстречу новому, светлому будущему. И вот он в Киеве. Начинаются дни безработицы, скитаний, свирепой нужды, смены профессий, временами прямо нищенства — писем к „благодетелям“ и „меценатам“ с просьбами о помощи. Но мы с тобой, Машенька, убили Ромашова... А теперь Ромашов умер, он мой двойник, и писать „Нищих“ без него я не могу».¹⁶

Тем не менее через некоторое время Куприн все же приступил к работе над романом. В одном из первых писем из Даниловского Куприн писал Ф. Д. Батюшкову: «Я хотел было начать с небольшого рассказа, но скучно мне писать мелочишки. И вот я принимаюсь за большую повесть. Листов 12, я думаю, из нее выдет. И думаю я непременно, если она задастся, отдать Миру божьему. Хотя предупреждаю: будет она очень нескромна...». Далее в том же письме Куприн обращается к Батюшкову с просьбой: «Мне для повести очень нужно какое-нибудь стихотворение Бодлера или Верлена, или другого из декадентов и символистов, но непременно очень яркое по

¹⁶ М. К. Куприна-Иорданская. Из воспоминаний о Куприне. — Огонек, 1945, № 36, стр. 8.



А. И. КУПРИН
1913 г.

форме и оригинальное по содержанию. Нужны мне собственнo только две строчки начальные по-французски, а остальное — самый близкий, построчный, пословный перевод, чем неуклюжее, тем лучше» (письмо от 18 мая 1906 г.).

Однако вместо задуманной повести или романа Куприн пишет тогда «Обиду», «Реку жизни» и другие произведения. Поэтому в письме к Батюшкову от 21 сентября 1906 г. он сообщает: «Я чувствую себя бодро и точу перо на „Нищих“».

Все же «Нищим» Куприн уделял не слишком много внимания. В 1907 г. он ни разу не упоминал об этом замысле в своих письмах.¹⁷

В 1908 г. в интервью он сообщил подробности о своей работе: «Сейчас пишу большой роман „Нищие“, который мучит меня уже четыре года... Весь план у меня уже настолько готов, так живы все лица и события, что я мог закончить его в месяц».

Затем Куприн перешел к краткому изложению содержания «Нищих»: «Место действия — Киев... Годы репортажа в страшной бедности и веселой молодости, разлив Днепра, запах белой акации, цветущие каштаны, столетние липы царского сада, цветы и пещеры, пристань, ночлежки, — много радостного и печального!...».

Когда репортер спросил его не о содержании, а о сюжете романа, Куприн ответил: «Сюжета не рассказываю. Во-первых, это — долго. Во-вторых, есть примета: как расскажешь сюжет, — так и охладеешь к рассказу...».¹⁸

В том же 1908 г. в газете «Новая Русь», в которой работал близкий знакомый Куприна В. Ф. Боцяновский и где довольно часто появлялись сведения о работах Куприна, было напечатано сообщение о его новом романе «Нищие». В заметке указывалось, что основная идея произведения — «триединая троица: бог — человек — зверь».

¹⁷ В недатированном письме к И. А. Бунину от конца 1907 или начала 1908 г. Куприн предлагал Московскому издательству писателю «ненаписанную главу из „Поединка“, именно, как Ромашов едет на дуэль, его мысли и чувства, и как он в последний момент, после команды „готовься“, безошибочно понимает, что Николаев, догадавшийся, куда ходила вчера и что делала Шурочка, убьет его» (Центр. Гос. литерат. архив, ф. И. А. Бунина, № 44, оп. 1, ед. хр. 133).

¹⁸ Биржевые ведомости, 1908, 18 июня, № 10558.

Автор, — говорится далее, — протестует в своем романе против нищеты и трусости человеческого духа, спеленутого обязательствами, условностями и преданием. Роман выйдет в 15—18 печ. листов.¹⁹

В другом издании тогда же главная идея «Нищих» излагалась более просто: «Основной замысел романа показать потерю красоты и свободы „чистых и непосредственных переживаний“ в будничной мещанской узкой борьбе за существование».²⁰

В 1909 г. у Куприна уже настолько много было уже написано из «Нищих», что он предлагал Клёстову, представителю «Московского книгоиздательства», на выбор — отрывки из «Ямы» или из «Нищих».

Но после этого Куприн охладевает к «Нищим» и, как можно судить по сохранившимся данным, к роману больше не возвращается. Возможно, причиной этого было то, что и в «Яме» место действия — Киев, главное действующее (вернее, не «действующее», а «рассуждающее») лицо — репортер Платонов — тот же, хотя и взятый в развитии, Ромашов. Повидимому, часть персонажей из «Нищих» перешла в «Яму», и, таким образом, на долю романа уже ничего не осталось.

В сохранившихся остатках архива Куприна никаких следов «Нищих» нет. Из того, что об этом замысле известно, можно заключить, что произведение это должно было представлять продолжение автобиографии Куприна.

¹⁹ Новая Русь, 1908, № 4.

²⁰ Слово, 1908, № 619.

Глава десятая

КУПРИН В 1917—1919 гг.

Осенью 1916 г., совершая поездку по Кавказу для чтения лекций, Куприн заболел лихорадкой с очень высокой температурой. Врачи рекомендовали ему переехать на время из Гатчины в Гельсингфорс. Здесь Куприна застала Февральская революция.

Чтобы понять его отношение к революции, необходимо предварительно сказать о его отношении к империалистической войне 1914—1918 гг. несколько подробнее, чем это было сделано выше.

В течение 1914—1916 гг. Куприн находился в приподнятом, взволнованном душевном состоянии. Не имея правильных представлений о грабительском характере войны двух империалистических коалиций, Куприн, как и многие другие русские писатели, предавался иллюзиям о том, что русско-германская война — «последняя война», «очистительная», «преображающая» и т. д. Эта позиция Куприна отразилась в ряде его статей, открытом письме к немецким писателям, в стихотворении «Рок», где, между прочим, говорилось:

Великий подвиг совершает, боже,
Смиренный твой, незлобивый народ,
Не ведая, в губительном огне,
Что миру он несет освобожденье
И смерть войне.¹

Когда по состоянию здоровья Куприн был демобилизован, он в своем гатчинском доме на личные средства

¹ А. Куприн. Рок. — Невский альманах, Пгр., 1915, стр. 27.

организовал военный госпиталь и много времени посвящал беседам с выздоравливавшими солдатами, не подозревавшими даже, что он — известный писатель. Все это время — 1914—1916 гг. — Куприн находился в убеждении, что чудо, о котором он устами Астреина говорил в «Мелюзге» и от своего имени в «Снах» (1914), вот-вот наступит.

Поэтому Февральскую революцию Куприн встретил сочувственно, но прежние его сомнения, сомнения автора статьи в «Neue Freie Presse», давали себя также знать. Его пугала «стихийность» событий, и он высказывал опасения, что революция пойдет далее, чем это, по его мнению, нужно.

Оставаться в Финляндии в такое серьезное время Куприн не считал возможным и вскоре после Февральской революции возвратился в Гатчину.

О своих анархических взглядах 1906—1907 г. он к этому времени окончательно забыл. Несмотря на свое «отвращение к политике», Куприн должен был политически самоопределиться, и он стал членом партии «народных социалистов», близкой правым эсерам. С середины мая он, совместно с буржуазным журналистом П. М. Пильским, редактировал «народно-социалистическую» газету «Свободная Россия» (с № 8 до закрытия ее). Здесь он вел политический фельетон «Пестрая книга», писал и другие статьи, в которых совмещал «астреинские» взгляды со «смирновскими». Однако «Свободная Россия» просуществовала недолго, и, как позднее указывал Куприн в одном документе начала 1918 г., «очень быстро закрылась по желанию издателя» — в июле 1917 г. С августа Куприн был приглашен в газету «Вольность», издававшуюся А. В. Амфитеатровым, и одновременно в «Петроградский листок», перешедший под редакцию старого знакомого Куприна, критика А. А. Измайлова. В обеих газетах Куприн печатал преимущественно статьи на политические темы.

Собственно литературная деятельность его в 1917 г. выразилась в нескольких рассказах. В т. XX сборника «Земля» был напечатан рассказ «Каждое желание», затем появились «Беглецы» и «Сашка и Яшка», наконец, в № 2 «Огонька» за 1918 г. — «Гусеница». Все эти произведения не представляют каких-либо прямых откликов

на современность; в частности, «Беглецы» — это воспоминание о побеге Куприна с товарищами из пансиона Разумовской школы, «Гусеница» — изложение событий, связанных с оказанием помощи матросам, спасшимся с крейсера «Очаков» в ноябре 1905 г.

В 1918 г. Куприн продолжает выступать с политическими статьями в буржуазных газетах — «Петроградский листок», «Петроградский голос», «Петроградское эхо», «Вечернее слово», «Утренняя молва», «Эра» и др. В этих статьях у Куприна перемежаются правильные и честные оценки деятельности партии большевиков с резко ошибочными и враждебными суждениями. В то время как буржуазные газеты стремились набросить тень на репутацию вождей революции, Куприн писал: «Я считаю Ленина безусловно честным и смелым человеком».² В статьях «Пророчество», «Каломель» и др. он признает правоту идей большевизма, говорит о большевиках как о «людях кристальной чистоты», не может не признать, что «большевики, возглавляемые Лениным, проявили через Советы пламенную энергию». Статья «У могилы», написанная по поводу убийства Володарского, проникнута таким искренним чувством, что была «перепечатана многими периферийными газетами».³

Появление этой статьи представляет тем больший интерес, что незадолго до того Куприн был арестован, но очень скоро был освобожден, когда выяснилось, что в своей публицистике он не вел враждебной советскому государству пропаганды. Статья «У могилы» была напечатана через 4—5 дней после освобождения Куприна.

В то же время Куприн не мог понять тактику партии большевиков, и это отразилось в его публицистических статьях и в таких рассказах, как «Гатчинский призрак», где привидевшийся комиссару Гатчинского дворца т. Кауфману призрак Павла I говорит, что он, Павел, хотел сделать то же, что и большевики.⁴

² А. Куприн. Законный срок. — Утренняя молва, 1918, 19 июня, № 4.

³ Ротштейн, стр. 324.

⁴ А. Куприн. Гатчинский призрак. — Петроградский голос, 1918, 17 марта, № 36, стр. 4 и 19 марта, № 37, стр. 2. Этот рассказ в несколько иной редакции, но с сохранением сюжета и идеи был снова напечатан Куприным в эмиграции. Повидимому, не имея под

Когда в середине 1918 г. прекратилось издание буржуазных газет, Куприн почти перестал печататься. Он собирався опубликовать рассказы «Драгунская молитва» (из времени русско-германской войны) в альманахе «Гранит» и «Генерал Скобелев» (позднее вышедший под заглавием «Однорукий комендант») в журнале «Пиковая дама», но ни альманах, ни журнал не осуществились.

К числу литературных выступлений Куприна в 1918 г. следует отнести его, насколько известно, ненапечатанную лекцию «О репортерах и газетс», прочитанную 14 апреля 1918 г. в Петроградской школе журнализма. Лекция эта не явилась неожиданностью для тех, кто знал любовь Куприна к своим прежним товарищам по газетной работе и кто следил за его произведениями, в которых довольно часто фигурировали в качестве действующих лиц репортеры («Локоп», «Штабс-капитан Рыбников», «Святая любовь», «По заказу», «Травка» и др.). В 1909 г., уже будучи одним из самых известных современных писателей, он подумывал о возвращении к роли газетного корреспондента в связи с ожидавшейся тогда войной. В письме к Ф. Д. Батюшкову от 6 марта 1909 г. он писал:

«Очень может быть, что завяжется война. Я не хочу ее прозевать, как прозевал Японскую. Тогда я слишком поздно спохватился, и мне остался один Нотович,⁵ предложивший 400 р. в месяц, чего нехватило бы на чай телеграфистам и другой челяди. Теперь же я всеми силами уцеплюсь за случаи поехать корреспондентом. Каждый человек, по чьему-то замечательному выражению, должен испытать славу, любовь и войну.

«Прошу твоего совета и содействия. Главное — где есть деньги и где мне верят. Но ты ведь знаешь мою способность, при желании, быстро овладевать людьми, как и льстить им без зазрения совести. И ей богу, я буду самым отчаянным, точным, изобретательным и преданным газете корреспондентом (даже с рисунками! и с фотографией!), не считая того, что я чуть-чуть художник. И ты сам с удовольствием будешь читать мои заметки».

рукой ни первоначальной рукописи, ни печатной публикации, Куприн написал его вновь.

⁵ О. К. Нотович (1849—1914); с 1876 г. по 1905 издавал газету «Новости».

Войны, как известно, в 1909 г. не было, и стать военным корреспондентом Куприну не пришлось. Но интерес его к газете и к газетным работникам не пропал и через несколько лет проявился в виде брошюры, изданной в самом начале империалистической войны и посвященной известному французскому буржуазному журналисту Анри Рошфору, в свое время пламенному врагу Наполеона III, а в старческом возрасте перешедшему в стан черной реакции. В книжечке «Анри Рошфор. Его жизнь, деятельность и смерть» Куприн ставил своей целью «сказать несколько слов об этой изумительной личности, рассказать об его непримиримости, об его гражданском мужестве и, наконец, даже о его падении». Анри Рошфор привлек внимание Куприна как «король, настоящий король, признанный всем светом, — король фельетонного памфлета». Куприну в Рошфоре импонировало то, что «более шестидесяти лет его злое, остроумное перо, которое он, казалось, макал не в чернила, а в кровь и желчь, привлекало внимание всего Парижа, создав Рошфору множество ненавидящих, беспомощных, мстительных врагов и бесчисленное количество пламенных поклонников».

Перепечатывая в своей книжечке отрывки из лучших памфлетов французского журналиста против монархии Наполеона III, Куприн многозначительно предупреждал читателя, что «небрежные строки Рошфора живут и до сих пор неувядаемой злобою, и его ненависть будет понятна особенно в России».⁶ Таким образом, Куприн хотел познакомить русского читателя с журналистом — борцом с монархией, имея в виду аналогичные условия в России — необходимость борьбы с самодержавием. Впрочем, более отчетливо свою мысль Куприн не сформулировал.

Все приведенные данные показывают, что лекция Куприна «о репортерах и газете» представляла как бы итог его собственного опыта, наблюдений, чтений и размышлений.

Из газетных отчетов о лекции Куприна можно заключить, что в ней, как и в его лекциях о современной русской литературе, было много остроумных, порою даже парадоксальных положений и что она больше говорила

⁶ А. И. Куприн. Анри Рошфор. Пб., 1914, стр. 5, 7, 11.

о нём самом, чем об избранной им теме. По мнению Куприна, «редактор — полководец, политический обозреватель — тяжелая артиллерия, внутренний отдел, выпускающий, секретарь — полевая артиллерия, фельетонист — кавалерия, репортеры — газетная пехота».

«Репортер, — говорил Куприн, — прежде всего, должен быть здоровым, обладать хорошими нервами и любить свое дело. Известный московский репортер Гиляровский знал всю Первопрестольную. Да ведь и вся Москва знала его!». Дав характеристику ряда русских и иностранных писателей, в произведениях которых он отмечал черты репортажа, Куприн остановился и на личных качествах «газетной пехоты»: «Репортеры — хорошие товарищи, особенно в личных отношениях».⁷

Однако самой интересной, хотя и самой спорной частью лекции Куприна следует признать то место, где он говорил об отсутствии резкой границы между писателем-беллетристом и настоящим, хорошим репортером-художником (см. выше, стр. 17).

Через несколько месяцев после этой лекции Куприну пришлось испытать очень серьезное литературное нападение, исходившее от газетного работника, — не репортера, а газетного фельетониста, — нападение, произведшее на него сильное впечатление.

В 1918 г. в Петрограде начала выходить «Красная газета»; одним из ее сотрудников был поэт-сатирик В. В. Князев. В «Красной газете» он вел стихотворный фельетон, названный несколько странно «Красной колокольней». Это название явилось в результате обвинения «Красной газеты» кем-то из буржуазных журналистов в том, что она на все смотрит со своей колокольни.

С августа 1918 г. «Красная колокольня» стала издаваться отдельно, но в качестве приложения к «Красной газете». Просуществовала она лишь полтора месяца, всего вышло 7 номеров: Во всех номерах «Красной колокольни» печатался резкий и остроумный памфлет В. Князева против Куприна под заглавием: «Красный трибунал. Процесс первый. Дело А. Куприна. (Русская литература на скамье подсудимых)».

⁷ А.-Ъ. «Газетная пехота». — Вечернее слово, 1918, 15 апреля, № 20.

Памфлет Князева построен в форме речи государственного обвинителя на воображаемом процессе Куприна. За явными преувеличениями памфлетного жанра скрыты следующие положения автора: «Поединок» Куприна «нанес царской армии в тысячу раз более страшный удар, нежели тот, что нанесли японцы под Цусимой русскому флоту».⁸ Произошло это потому, что, после гибели в первые 18—20 месяцев империалистической войны кадровой армии, пополнения состояли из людей, не подвергшихся отупляющему воздействию казармы, из грамотных рабочих и крестьян более старших возрастов. Значительная часть новых солдат, в отличие от прежней кадровой армии, привыкла читать книги.

«Одной из первых проникших в казарму книг, — утверждал В. В. Князев, — и наиболее жадно и страстно читаемой явилась книга гражданина Куприна, повесть „Поединок“.

«Это я видел в Александрове в 1916 г.; — продолжал Князев, — и в г. Старая Русса весной прошлого <1917>».⁹

Своей книгой, — утверждал далее Князев, — Куприн разложил царскую армию, внушил солдатам ненависть к офицерству, под влиянием «Поединка» совершен ряд политических убийств 1917 г.

«Гражданин Куприн, — по словам Князева, — один из величайших писателей нашей современности, это необычайный художник живого, выпуклого, изобразительного слова. Что бы он ни писал, на какие бы мелочи не разменивал он своего золотого таланта, все выходит из-под его руки живым, прекрасным, во всем чувствуется печать истинно художественного мастерства.

«Мимо таких книг проходить нельзя. Такие книги создают эпоху. Жить в России и не знать „Поединка“, это все равно, что бродить по зоологии и не видеть слона, или за широкой спиной украинского самозванца-гетмана не видеть фигуры кадета».¹⁰

В результате подобного анализа выдвинутых им как прокурором обвинений Князев приходит, наконец, к заключению, в котором серьезность смешана с иронией:

⁸ Красная колокольня, 1918, 4 августа, № 1, стр. 1.

⁹ Там же, 11 августа, № 2, стр. 1.

¹⁰ Там же, 4 августа, № 1, стр. 2.

«Все обвинения доказаны. Гражданин Куприн — честный человек. Гражданин Куприн — друг народа и правды. Гражданин Куприн — совершил февральский переворот. Принимал деятельное участие в Октябрьском. Руки его сплошь залиты офицерской кровью и впрыснуты кровью мучеников революции — кадетов министров».¹¹

За преувеличениями, продиктованными памфлетной установкой статьи Князева, сквозило недвусмысленное осуждение современной, 1918 г., позиции Куприна, звучала горечь и боль за большого писателя, которому теперь были далеки и чужды его собственные политические выступления периода революции 1905 года.

Вместе с тем Князев был убежден в том, что Куприн должен вернуться на прежний путь:

«В конце-то концов, вы обязательно придете к нам! — писал Князев.

«Все честное придет к нам!

«Все мыслящее придет к нам!

«Все живое — жизнеспособное, жизнеспособное — обязательно придет к нам!

«„Когда?“ — Неважно! Но „придет“ — обязательно!».¹²

То ли на самом деле Князев получил по поводу своей статьи письмо, то ли сделал это из литературных соображений, во всяком случае, он поместил в одном из разделов своей статьи реплики «судьи», слесаря Невского механического завода Ивана Семенова. Среди прочих возражений «судьи» находилось следующее: «Вы его обвиняете тогда, когда позакрыли все газеты, так что ему невозможно дать ответ публично на ваши обвинения». На это «прокурор» ответил: «Во-первых, он может ответить брошюрой — книжкой. Во-вторых, буде он того пожелает, — вышка „Красной колокольни“ к его услугам. Ответить же он должен, ибо обвинения, выдвинутые против него, серьезны, обоснованы и как таковые требуют ответа. Он должен ответить, если он честен. А он — честен».¹³

Смысл памфлета Князева ясен: Куприн своим «Поединком» способствовал прояснению политического соз-

¹¹ Красная колокольня, 1918, 8 сентября, № 6, стр. 4—5.

¹² Там же, 1 сентября, № 5, стр. 2.

¹³ Там же, стр. 4—5.

нания многих миллионов читателей, он, как честный писатель, как истинный друг народа и правды, должен быть на стороне Октябрьской революции, на стороне большевиков, должен быть вместе с революционным народом, а не с его врагами. Куприн не мог не понять этого.

И вот он пишет письмо, в котором чувствуется растерянность и неуверенность, чувствуются какие-то колебания, неясные, может быть, и самому Куприну:

«Дорогой Василий Васильевич! вышло так: Вы чрезвычайно ловко и смело фехтовали, проткнув меня глубоко во всех местах, но слабая сторона Вашего горячего нападения заключалась в том, что я-то был не только безоружен, но еще и со связанными руками и заткнутым ртом. Правда, Вы рыцарски предложили мне для защиты или „Колокольню“ или брошюру. Но — увы! — „Колокольня“ прекратилась, а тот издатель, который согласился дать мне бумагу и печать для ответа, сидел тогда в узилище, если не сидит и до сих пор. А мне многое и очень многое хотелось бы Вам возразить. И теперь хочется. Особенно потому, что в Вашем тоне, несмотря на его страстность, я уловил того же Князева, надпись которого на его книге, подаренной мне, я сейчас перечитал. Как быть?»

А. Куприн.

«Но есть резкость и резкость. Если бы Вы знали, какими словами меня ругали в свое время за „Поединок“ пишущие генералы!¹⁴ Даже теперь стыдно вспомнить».¹⁵

Так и не ответил в печати автор «Поединка» своему «прокурору».

Впрочем, известным ответом можно признать то, что, издавая в эмиграции «Поединок», Куприн переработал текст повести, освободив его от критического разоблачения царской казармы, т. е. лишив его самого главного, самого важного. Осталась повесть о Райсе Александровне Петерсон, об Александре Петровне Николаевой, об адюльтере. Критик «Русского инвалида», «пишущий генерал» П. А. Гейсман, дававший Куприну в 1905 г. совет

¹⁴ «Пишущие генералы» — П. А. Гейсман (см. выше, стр. 61—63).

¹⁵ Письмо хранится в рукописном отделе ИРЛИ.

писать именно в таком духе, мог быть вполне доволен: его совет был исполнен.

Но в конце 1918 г., может быть, после появления статьи Князева, у Куприна возникли сомнения в правильности занимаемой им политической позиции. Дело в том, что именно к концу 1918 и началу 1919 г. Куприн начал проявлять признаки какой-то перемены в своих оппозиционных отношениях к советской власти. Возможно, помимо размышлений, вызванных статьей Князева, известную роль сыграло приглашение Куприна М. Горьким к сотрудничеству в издательстве «Всемирная литература».

Для этого издательства Куприн перевел белыми стихами трагедию Шиллера «Дон-Карлос» и написал большое (около 5 печ. л.) предисловие к предполагавшемуся изданию сочинений Александра Дюма-отца, но обе работы не были напечатаны. От перевода «Дон-Карлоса» сохранился небольшой отрывок (III действие), хранящийся в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Рукопись об А. Дюма — в более поздней редакции (1925) — находится в Центральном Государственном литературном архиве.

Относительно статьи о Дюма Куприн в своих воспоминаниях о Горьком, написанных по возвращении на родину, сообщал следующее:

«Зная, как я люблю этого писателя [Дюма], Алексей Максимович поручил мне написать предисловие... Когда он прочел мою рукопись, то ласково поглядел на меня и сказал:

„— Ну, конечно... Я знал, кому нужно поручить эту работу“...».¹⁶

Вероятно, на почве работы во «Всемирной литературе» Куприн снова сблизился с Горьким. В только что цитированных «Отрывках воспоминаний» он отмечал, что часто ездил к Горькому из Гатчины. В результате этого нового сближения обоих писателей у них возникла идея издания специальной газеты для крестьян под названием «Земля». Весной 1919 г. Куприн и Горький ездили по этому поводу в Москву. Как писал об этом А. М. Горь-

¹⁶ А. И. Куприн. Отрывки воспоминаний. — Известия, 1937, 18 июня, № 142; Избранные сочинения, стр. 487.

кий в одном неопубликованном письме от 2 августа 1919 г., проект издания был утвержден, а также одобрен В. И. Лениным. В самом деле, В. И. Ленин принял по этому поводу Куприна, который позднее так рассказывал о своем посещении:

«Свидание состоялось необыкновенно легко. Я позвонил по телефону секретарю Ленина Фотиевой, прося узнать, когда Владимир Ильич может принять меня. Она... ответила: „Завтра товарищ Ленин будет ждать вас у себя в Кремле к 9-ти часам утра“».¹⁷

Однако, как сообщал в упомянутом выше письме М. Горький, «по техническим условиям издание газеты решено <было> перевести в Питер». Особенностью этого издания было то, что оно должно было печататься не на государственные средства, а на деньги одного частного лица. Сохранились план и программа издания на 11 страницах; они были разработаны Куприным, повидимому, совместно с Горьким. Предполагалось, что к газете будет даваться еженедельное иллюстрированное приложение, а при успешной подписке — и ежемесячные книжки.

Однако издание по каким-то причинам не осуществилось.

В сентябре 1919 г. Куприн написал упоминавшийся уже рассказ для детей «Волшебный ковер» об известном в свое время летчике, бразильце Сантос-Дюмоне. Повидимому, рассказ этот предназначался для детского журнала «Северное сияние», в котором редакционную коллегию возглавлял А. М. Горький. Рассказ этот в журнале напечатан не был, возможно, в связи с дальнейшей судьбой Куприна.

Кажется, «Волшебный ковер» был последним произведением Куприна, написанным в 1919 г. в СССР.

¹⁷ Ротштейн, стр. 324.

Глава одиннадцатая

В ЭМИГРАЦИИ

16 октября 1919 г. Гатчина, в которой проживал Куприн, была занята войсками Юденича. Как передавал нам В. Ф. Боцяновский, у Куприна был в это время один из очередных приступов его болезни и он не мог своевременно эвакуироваться в Петроград, а затем уже вынужден был остаться у белых.

Было ли это именно так, сыграло ли роль в данном случае и личное желание Куприна, сказать трудно. Зная его политическую позицию тех лет, следует скорее допустить, что ход событий совпал с субъективными интересами Куприна.

Во всяком случае, со второй половины октября 1919 г. он оказался на территории, занятой белыми. Когда вскоре советские войска разгромили Юденича и освободили Гатчину, Куприн отправился сперва в Финляндию, а затем, в середине 1920 г., во Францию.

Покинувший родину писатель окунулся в гущу белоэмигрантской жизни с ее вздорными и нелепыми политическими планами, мелкими и пошлыми интересами, с ее групповщиной и кружковщиной, с ее резкими противоречиями между жуирующими «верхами» и полуголодными, а то и вовсе голодными низами. Для острого, привычного глаза художника-бытописателя было обширное поле наблюдения, но вдохновить Куприна к творческой деятельности все это никак не могло.

Уже в 1923 г. он пишет из Парижа своей первой жене М. К. Куприной-Иорданской, оставшейся в Советском Союзе, что «существовать в эмиграции, да еще русской,

да еще второго призыва — это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц».¹ Он с горечью признается, что «пришлось вкусить сверх меры от всех мерзостей, сплетен, грызни, притворства, подсиживания, подозрительности, мелкой мести, а главное, непроходимой глупости и скуки». Характеристика взаимоотношений белоэмигрантских писателей, данная Куприным в том же письме, кратка и выразительна: «А литературная закулисная кухня... Боже, что это за мерзость!». Возмущает Куприна бессердечие и черствость эмигрантских «верхов», спокойно взирающих, как «артистки императорских театров целыми днями толкутся около кино-ателье в надежде, что их возьмут в фигурантки, изображающие толпу».

Окружавшая его французская жизнь не привлекала Куприна вовсе. Во время своего пребывания в Ницце в 1912 г. он старался сблизиться с трудовым человеком южной Франции, познать его быт и понять его душу. Сейчас Куприн чувствует себя в совершенно ином положении: «Париж теперь грязен, скучен, скуп и беден. А то, что в нем есть еще веселого, прекрасного и вдохновенного, закрыто для нас каменной стеной».

Мягкой, столь знакомой по «Гранатовому браслету», «Осенним цветам» и другим рассказам Куприна элегичностью проникнуто отношение стареющего писателя к бессмертной славе Франции, Парижу: «Почему-то прелестный Париж (воистину красоты неисчерпаемой!) и все, что в нем происходит, кажется мне не настоящим, а чем-то вроде разворачивающегося экрана кинематографии. Понимаешь ли, я в этом не живу. Это все понарошку, представление. Знаю, что, когда вернусь домой и однажды ночью вспомню утренние парижские перспективы, Площадь Звезды, каштановые аллеи, Булонский лес, чудесную Сену под старыми мостами, древние дома, пузатые от старости, Латинского квартала, визгливые ярмарки, выставки цветов, розы Багателя, Внутренний двор Лувра и все, все, все, — знаю, что заплачу, как о непонятой, неоцененной, ушедшей навсегда любви» (там же).

¹ Огонек, 1945, № 36, стр. 9.

Временами он проникается настроениями более жизне-
радостными, и тогда из-под его пера выходят такие за-
мечательные произведения, как «Золотой петух», в кото-
ром он достигает изумительной силы в изображении
французской природы.² Конец этого «стихотворения
в прозе» напоминает прежнего, молодого, сильного Куп-
рина: «Мое сухое сердце не вместит неистовых, свяшен-
ных восторгов петуха, воспевающего своего золотого
бога. Но разве не позволено и мне скромно, по-своему
быть влюбленным в вечное, прекрасное, животворящее,
доброе солнце».

Напоминает молодого Куприна, автора «Листриго-
нов», и очерк «Пунцовая кровь», посвященный описанию
боя быков в Байоне.³ Точность, четкость и яркость ри-
сунка, доведенная до виртуозности наблюдательность;
страстная взволнованность, пронизанная, однако, в не-
скольких местах еле заметной скептической усмешкой
человека, утомленного жизнью и все же безгранично
любящего ее; поразительно богатый, разнообразный и
в то же время как бы невесомый, неошутимый язык, —
таковы основные, — впрочем, возможно, субъективно вос-
принятые, — черты очерка «Пунцовая кровь».

Однако французская тематика не занимает сколько-
нибудь заметного места в творчестве Куприна эмигрант-
ского периода. Так, в рассказе «Система», изображающем
нравы Монте-Карло, наряду с французами, выводятся
и русские персонажи; в повести «Жанетта», в которой
даны зарисовки быта парижской бедноты, основным
героем является эмигрант-интеллигент, остро переживаю-
щий свою оторванность от родины. Этой же теме посвя-
щен рассказ «Шестое чувство».

В цитированном выше письме к М. К. Куприной-Иор-
данской (1923) Куприн писал: «Теперь все чаще и чаще
возвращаюсь воспоминаниями к Москве, к моей прежней
детской Москве, раньше как будто забытой мною совсем.

² Перепечатан в журнале «Резец» (1939, № 17—18, стр. 12).
в «Избранных произведениях» А. И. Куприна (под ред. Г. П. Макого-
ненко, Л., 1947, стр. 539—541) и в «Сочинениях» Куприна в 3 томах
(под ред. П. Л. Вячеславова и И. В. Мыльциной, М., 1953, т. III,
стр. 385—388).

³ Перепечатан в «Избранных произведениях» (стр. 542—559) и
в «Сочинениях» (т. III, стр. 389—413).

Боль и то, как по родине не проходят, не притерпеливаются, а все чаще и глубже... Пять лет в изгнании. Пять лет! И это в то время, когда полной сознательной жизни остается „всего — ничего“, как говорят гдовские кухарки». ⁴

Художественные произведения Куприна этого периода представляют большей частью воспоминания, облеченные в беллетристическую форму. В них — русская природа, русский дореволюционный быт. Таков рассказ «Ночь в лесу», напоминающий старые охотничьи рассказы Куприна — «На глухарей», «Зачарованный глухарь» и пр. ⁵ Таков забавный рассказ «Царский гость из Наровчата», очень близко подходящий к циклу А. Ф. Писемского «Русские лгуны», в особенности к рассказу «Друг царствующего дома (Фантазерка)». ⁶

Аналогичный характер имеет рассказ «Тень Наполеона». ⁷

Тяготение к мемуарному жанру приводит его к созданию повести «Юнкера», которая должна служить соединительным звеном между «Кадетами (На переломе)» и «Поединком». Герой «Юнкеров», Александров — столь же автобиографичный, как и Ромашов из «Поединка», о котором, по словам М. К. Куприной-Иорданской, писатель говорил: «Он — мой двойник». ⁸ Заканчивает за границей Куприн еще в 1910—1911 г. задуманный рассказ «Елань», связанный с его деятельностью в 1900 г. в качестве лесного землемера-таксатора. О содержании этого рассказа Куприн сообщал в интервью в конце февраля 1913 г. ⁹

В. Ф. Боцяновский, характеризуя эту группу произведений Куприна, писал: «Рассказов, более или менее

⁴ Огонек, 1945, № 36, стр. 9.

⁵ Рассказ «Ночь в лесу» перепечатан в журнале «Литературный современник» (1940, № 10—11).

⁶ Рассказ «Царский гость из Наровчата» перепечатан в журнале «Литературный современник» (1939, № 7—8).

⁷ Перепечатан в журнале «Огонек» (1937, № 34).

⁸ Огонек, 1945, № 36, стр. 8.

⁹ «Без автора». Новые работы А. И. Куприна. — Русское слово, 1913, 1 марта. В письме к Ф. Д. Батюшкову из Риги от 20 февраля 1910 г. Куприн писал: «Найди мне в „Толковом словаре“ Даля или в Академическом значение рязанского слова „Елань“. Это нечто вроде глубокого залива луга или пашни в лес. Но мне надо точно знать». У Даля слово «елань» объяснено так: «Обширная прогалина, луговая или полевая равнина».

все же отражающих жизнь чужой писателю страны, очень немного. В остальных — впечатления, вывезенные с родины. В них русская природа, русский быт, русские люди в прошлом и настоящем. В далеком и чуждом ему Париже Куприн вспоминает маленький родной городок Пензенской губернии Наровчат („Царский гость из Наровчата“), то и дело в целом ряде рассказов вспоминает Гатчино, Елизаветинскую улицу, где остался его дом, гатчинский ресторан „Vieux Verевкин“, бывший как бы гатчинским филиалом „Вены“, ресторана литературной богемы в Петербурге, вспоминает имение Батюшкова Даниловское, где часто и подолгу жил и написал „Суламифь“, вспоминает Одессу, заново переживает свои охотничьи впечатления. Все, что он пишет теперь, это как бы отрывки из его воспоминаний. В каждой строке чувствуются его личные переживания, пропикнутые настроениями, когда даже „дым отечества нам сладок и приятен“...».¹⁰

В общем за все время пребывания Куприна за рубежом им было написано много меньше, чем до эмиграции. В 1920 г. в Гельсингфорсе был издан сборник рассказов «Звезда Соломона», в состав которого вошли произведения 1917—1920 гг. В 1924 г. выходят «Новые рассказы», позднее повесть «Жанетта», «Купол святого Исаакя» и др. В 1921—1925 г. издается «Полное собрание сочинений» Куприна в 12 томах, очень, однако, далекое от исчерпывающей полноты.

Падение продуктивности Куприна в эти годы объясняется рядом психологических причин: тоскою по родине, отношением к эмигрантской среде и тяжелым внутренним кризисом, результатом сознания бесполезности своего пребывания вне Советской страны и, возможно, позорности своего участия в грязных эмигрантских газетах вроде «Русского времени», «Русской газеты» и т. д.

Ослабление художественного дарования Куприна стало в это время фактом, мимо которого нельзя было пройти. В связи с этим несомненный интерес приобретает заметка в одной из ленинградских газет в начале 1926 г.:

¹⁰ В. Ф. Боцяновский. Литературное наследство А. И. Куприна. (По поводу пятидесятилетия его первого рассказа). Рукопись в ИРЛИ, шифр: ф. 439, № 2, стр. 3—4.

«Потеря художественного дара Куприна заинтересовала самих эмигрантов. Один из эмигрантов газетчиков проинтервьюировал по этому поводу автора „Поединка“, который сказал следующее:

«— Писал здесь в Париже Тургенев. Мог писать вне России. Но был он вполне европейский человек; был у него здесь собственный дом и, главное, душевный покой. Горький и Бунин на Капри писали прекрасные рассказы. Бунин там написал „Деревню“... Но ведь было у них тогда чувство, что где-то далеко — есть у них свой дом, куда можно вернуться — припасть к родной земле... А ведь сейчас чувства этого нет и быть не может; скрылись мы от дождя огненного, жизнь свою спасая...

«Есть люди, которые по глупости, либо от отчаяния утверждают, что и без родины можно. Но, простите меня, это все притворяшки перед самим собой. Чем талантливей человек, тем труднее ему без России.

«О чем же писать? Ненастоящая здесь жизнь. Нельзя нам писать здесь. Писать о России по зрительной памяти я не могу. Когда-то я жил там, о чем писал? О балаклавских рабочих (рыбаках? — П. Б.) писал и жил их жизнью, с ними сроднился. Меня жизнь тянула к себе, интересовала, жил я с теми, о ком писал. В жизни я барахтался страстно, вбирая ее в себя... А теперь что? Все пропадает. Да и писать негде...»¹¹

Куприн прекрасно понимал, что «работать для России можно только там», т. е. в Советском Союзе. «Долг каждого искреннего патриота вернуться туда», — писал он М. К. Куприной-Иорданской; но его охватывали сомнения в возможности быть полезным родине: «Но что я умею и знаю? Правда, если бы мне дали пост заведующего лесами Советской республики, я мог оказаться на месте». В способность вернуться к интенсивной литературной деятельности Куприн не верит: «Ты скажешь, — читаем мы в том же письме, — писать беллетристику. Ах, дорогая моя, устал я смертельно и идет мне 54-й. Кокон моего воображения вымотался и в нем остались пять-шесть оборотов шелковой нити... А правда: умереть бы там слаще и легче было».¹²

¹¹ «Без автора». Куприн в Париже. — Красная газета (веч. вып.), 1926, 6 января, № 4.

¹² Огонек, 1945, № 36, стр. 9.

Так, в тоске по родине, в воспоминаниях об утраченном и в вынуждаемой обстоятельствами газетной работе, изредка прерываемой выступлениями с художественными произведениями, — «из пяти-шести оборотов шелковой нити», — протекают восемнадцать лет эмигрантской жизни Куприна.

В то же время и из советских газет, за которыми он следит, и из встреч с советскими гражданами и с людьми, бывавшими в Советском Союзе, и из писем от старых друзей Куприн знает и видит огромный экономический и культурный подъем родной страны, видит, как осуществляются его старые мечтания о великом будущем России: «Тверже, чем в мой завтрашний день, — писал он Ф. Д. Батюшкову 18 марта 1909 г., — верю в великое мировое загадочное предназначение моей страны...». Он явственно видит громадное политическое влияние, которое приобрела Советская страна в современных международных отношениях. Чем старше становится писатель, чем яснее понимает он, что его художественное творчество, питавшееся ранее здоровыми соками родной почвы, оскудевает и хиреет в смрадном эмигрантском болоте, — тем яснее сознает он свою отчужденность от белогвардейской эмигрантщины и свой долг вернуться на Родину.

Глава двенадцатая

СНОВА НА РОДИНЕ

31 мая 1937 г. в ряде советских газет было опубликовано следующее сообщение ТАСС:

Возвращение А. И. Куприна в Советский Союз

29 мая выехал из Парижа в Москву возвращавшийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель — автор повестей «Молох», «Поединок», «Яма» и др. — Александр Иванович Куприн.¹

В тот же самый день на Белорусском вокзале старого писателя встретили представители литературных и общественных организаций и почитатели его выдающегося таланта. Эта теплая дружественная встреча глубоко растрогала Куприна. В беседе с корреспондентом «Литературной газеты» он поделился охватившими его чувствами и переживаниями: «Я бесконечно счастлив, — сказал Куприн, — что Советское правительство дало мне возможность вновь очутиться на родной стороне, в новой для меня Советской Москве. Я — в Москве! Не могу притти в себя от радости. Последние годы я настолько остро ощущал и сознавал свою тяжелую вину перед русским народом, строящим новую счастливую жизнь, что самая мысль о возможности возвращения в Советскую Россию казалась мне несбыточной мечтой». Куприн рассказал далее о волнениях и колебаниях, которыми была заполнена его жизнь в эмиграции в течение несколь-

¹ Правда, 1937, 31 мая, № 148, стр. 6.

ких лет перед возвращением на родину: «Эти мои опасения угнетали меня, давили. И, не скрою, я не решался очень долгое время просить у полпредства разрешения вернуться в Советский Союз... Я рвался на родину, — преследуемый в то же время единственной мыслью, — продолжал Куприн рассказывать корреспонденту, — простит ли меня народ мой». Сообщив несколько подробнее о своих переживаниях перед получением правительственного разрешения на въезд в Советский Союз, Куприн перешел к планам предполагаемых работ: «И здесь в Москве я хочу сказать советскому читателю, новому замечательному поколению советского народа искренне и убежденно: постараюсь найти в себе физические и творческие силы для того, чтобы в ближайшее же время уничтожить ту мрачную бездну, которая до сих пор отделяла меня от Советской страны». Указав затем, что предшествующей зимой он перенес очень тяжелую болезнь, Куприн закончил свою беседу так: «Я чувствую себя окрепшим от одного сознания, что я в Москве; но врачи требуют режима. Придется им подчиниться. Но когда я вырвусь из санатории или дома отдыха, ничто и никто не сможет оторвать меня от письменного стола».²

Прожив короткое время в столице, Куприн по совету врачей поселяется в Голицыне под Москвой. Его посещают старые литературные друзья и молодые советские писатели, дарят ему свои книги. После посещения Валентина Катаева, оставившего Куприну свою книгу «Белеет парус одинокий», автор «Белого пуделя» и «Листригонов» заметил: «Хорошо Катаев пишет о детях и о море. А это очень трудно».³

Куприн стал получать множество писем от советских почитателей его литературного дарования. Отвыкший в эмиграции от подобной формы общения с читателем, Куприн был очень тронут этим новым проявлением внимания к себе со стороны советской читательской массы: «Мне пишут сейчас люди, которых я совершенно не знал раньше, — рассказывал Куприн несколько позднее корреспонденту „Комсомольской правды“, — пишут они с такой сердечностью и теплотой, точно мы — давнишние

² <Без автора>. У Куприна. — Литературная газета, 1937, 5 июня, № 30, стр. 5.

³ Огонек, 1945, № 36, стр. 9.

друзья, дружба которых была прервана, но сейчас возобновилась. Некоторые из них — мои старые читатели. Другие — читатели молодые, о существовании которых я и не подозревал. Всех их радует то, что я, наконец, вернулся в СССР. Душа отогревается от ласки этих незнакомых друзей».⁴

До глубокой осени Куприн прожил в Голицыне, наезжая по временам в Москву. Многие из того, к чему мы относимся, как к привычному, повседневному явлению, поражало престарелого писателя, вернувшегося на родину после почти двадцатилетнего отсутствия. Каждый раз он сопоставлял новую, советскую Москву с той, которую покинул перед эмиграцией, сопоставлял уклад русской дореволюционной жизни с новыми формами советского быта, раскрывавшимися перед ним на каждом шагу. Его восхищает московское метро, новое строительство, новый темп жизни. Однако, — говорит он, — «самое удивительное из того, что возникло за это время, и самое лучшее, что я увидел на родине, это — люди, теперешняя молодежь и дети». Поэтому Куприн считает, что «главной достопримечательностью Москвы является м о с к в и ч». Старого писателя, в памяти которого сохранился культурный и нравственный облик дореволюционного российского и эмигрантского обывателя, поражало повсеместно наблюдаемое им уважение к старости, приветливость советского человека, его жизнерадостность и способность сильно и глубоко чувствовать. Куприн приводит в интервью с репортером «Комсомольской правды» ряд примеров того, как общителен и как полон достоинства рядовой житель Москвы:

«Во время прогулки по Москве меня очень трогали также приветствия. Идет навстречу незнакомый человек, коротко бросает: „Привет Куприну!“ и спешит дальше. Кто он? Откуда он меня знает? Повидимому видел фотографию, помещенную в газетах в день моего приезда, и считает долгом поздороваться со старым писателем, вернувшимся с чужбины. Это брошенное на ходу: „Привет Куприну!“ звучало замечательно просто и искренне.

⁴ А. Куприн. Москва родная. — Комсомольская правда, 1937, 11 октября, № 235, стр. 4; перепечатано в «Избранных сочинениях» Куприна (под ред. П. Вячеславова, М., 1947, стр. 491) и в «Сочинениях» Куприна (т. III, стр. 561—565).

Со мной иногда заговаривали на улице. Однажды к нам подошла просто одетая женщина и сказала, подав руку: „Я — домработница такая-то. Вы — писатель Куприн? Будем знакомы“...».

Рассказав о своих посещениях кино и о том, что особенно сильное впечатление на него произвела отзывчивость и чуткость публики в зрительном зале, Куприн с исключительной теплотой, симпатией и уважением отзывался о советской молодежи, о советских юношах и девушках: «Меня поразили в них бодрость и безоблачность духа. Это — прирожденные оптимисты. Мне кажется даже, что у них, по сравнению с юношами дореволюционной эпохи, стала совсем иная, более свободная и уверенная походка...».

Особенно восторгала Куприна тяга к знанию, к образованию в родном народе: все учатся, конспектируют, читают. «А как любят в СССР Пушкина!..» — с восхищением говорит Куприн о своем любимом писателе.

Много места уделил Куприн в своем интервью советской детворе. О ней он говорил с глубокой, проникновенной нежностью и теплотой. С горечью сопоставлял он годы своего гимназического ученья — с розгами, с классными надзирателями, с уродливым и коверкающим детскую душу укладом — с годами ученья советских школьников. Куприн вспоминал незаслуженное наказание — сечение розгами, — которое перенес герой «Кадетов», гимназист Буланин. «Буланин — это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь».

Куприн сознавал, что впечатления его от полугодового пребывания на вновь обретенной родине еще слишком недостаточны для серьезных обобщений, необходимых для вдумчивой творческой работы. «Многое хочется увидеть, — продолжал он в своем голицынском интервью, — о многом хочется поговорить. После переезда в Москву я предполагаю побывать в музеях, посмотреть в театрах и кино „Господа офицеры“ (пьесу, переделанную из моего „Поединка“), „Тихий Дон“, „Любовь Яровую“, „Анну Каренину“, „Петра I“. Обязательно съезжу в цирк, любителем которого остаюсь попрежнему».

И, сознавая недостаточность своего опыта как советского гражданина для того, чтобы стать советским писа-



А. И. КУПРИН
1938 г.

телем, Куприн в то же время признается, что ему «очень хочется писать для чудесной советской молодежи и пленительной советской детворы. Не знаю только, — прибавил он с грустью, — позволит ли мне здоровье в скором времени взяться за перо».

От мыслей о будущем, от планов и творческих замыслов Куприн снова обратился к еще не утратившим свежесть впечатлениям от родной страны: «Даже цветы на родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей. Говорят, что у нас почва жирнее и плодороднее. Может быть. Во всяком случае, на родине все лучше!».

Многолетнее пребывание Куприна в эмиграции сильно повлияло на его здоровье, надорвало его силы, превратило преждевременно в старика. Н. Д. Телешов, знавший Куприна с конца XIX—начала XX в., сохранил в своих «Записках писателя» трагический портрет угасавшего автора «Поединка»: «Уехал он если и не очень молодым, то очень крепким и сильным физически, почти атлетом, а вернулся изможденным, потерявшим память, бессильным и безвольным инвалидом. Я был у него в гостинице „Метрополь“ дня через три после его приезда. Это был уже не Куприн — человек яркого таланта, каковым мы привыкли его считать, — это было что-то мало похожее на прежнего Куприна, слабое, печальное и, видимо, умирающее. Говорил, вспоминал, перепутывал все, забывал имена прежних друзей. Чувствовалось, что в душе у него великий разлад с самим собою. Хочется ему откликнуться на что-то, и нет на это сил. Ушел я от него с невеселым чувством: было жаль сильного и яркого писателя, каким он уже перестал быть».⁵

Дополняют портрет Куприна, набросанный Н. Д. Телешовым, воспоминания В. Катаева о его встрече со старым писателем в 1937 г.:

«Раньше я не был знаком с Куприным. Я пришел к нему в гостиницу „Метрополь“ вскоре после его возвращения на Родину. Я увидел маленького старичка в очках с увеличительными стеклами, в котором не без труда узнал Куприна, известного по фотографиям и портретам. Он уже плохо видел и с трудом нашел своей рукой мою

⁵ Н. Д. Телешов. Записки писателя. Изд. 2-е, М., 1950, стр. 66.

руку. Трудно забыть выражение его лица, немного смущенного, озаренного слабой, трогательной улыбкой. Из-за толстых стекол очков смотрели очень внимательные глаза больного человека, сияющего проникнуть в суть окружающего. Это же выражение напряженного, доброжелательного удивления не покидало лицо Куприна все время, пока мы сидели на открытой веранде „Метрополя“, а потом гуляли по центральным улицам Москвы — советской Москвы! — такой нарядной, веселой и деловой в этот яркий осенний день, полный солнца и цветов.

«С жадным любопытством всматривался Куприн в черты нового мира, окружавшего его. Медленно переступая ногами и держась за мой рукав, Александр Иванович то и дело останавливался, осматривался и шел дальше с мягкой улыбкой на лице, как бы одновременно и встречаясь и навеки прощаясь со своей утраченной и вновь обретенной Родиной...».⁶

В то время как Куприн жил в Голицыне, в Государственном Издательстве художественной литературы печатался двухтомник, составленный из лучших его дореволюционных произведений, в журналах стали появляться перепечатки его рассказов и очерков, опубликованных ранее за границей, готовилась первая диссертация о его творчестве (М. Питляр). Куприн, несмотря на старость, был полон надежд и планов. Он как бы вновь переживал прилив писательской энергии и только ждал улучшения здоровья. Но улучшения не последовало: в ночь на 25 августа 1938 г. его не стало. «Умер Александр Иванович от рака языка, полный планов и занятый хлопотами об издании своих сочинений».⁷

⁶ В. Катаев. Творчество Александра Куприна. — Огонек, 1954, № 22, стр. 16.

⁷ М. К. Куприна-Иорданская. Из воспоминаний о А. И. Куприне. — Огонек, 1945, № 36, стр. 9.

Глава тринадцатая

ЛИТЕРАТУРНОЕ МАСТЕРСТВО КУПРИНА

Одной из наиболее характерных черт творческого облика Куприна было то, что в своих лучших произведениях он был «писателем без выдумки». Близко знавший его писатель и литературовед В. Ф. Боцяновский в этюде, посвященном литературному наследию Куприна, сообщал: «Почти в каждом из его произведений можно указать не только место действия, но даже назвать фамилии персонажей, послуживших оригиналами для его героев».

Это свойство таланта Куприна прежде всего проявилось в значительной автобиографичности его произведений. Многие из написанного им являются по существу изложением, более или менее творчески преображенным, отдельных эпизодов его жизни. Герои его часто высказывают мысли, впечатления и взгляды самого Куприна. Это давно уже было отмечено критикой, в этом признавался часто и сам писатель.

Автобиографичность многих произведений Куприна, как крупных («Поединок», «Кадеты (На переломе)», «Юнкера», неоконченный роман «Нищие» и др.), так и мелких («Блаженный», «По-семейному», «Беглецы», «Гусеница», «Первенец», «Неизъяснимое» и пр.), достаточно хорошо известна. Автобиографическими чертами наделены и Бобров («Молох»), и студент Воскресенский («Корь»), и Шавинский («Штабс-капитан Рыбников»).

М. Горький со свойственной ему проницательностью очень скоро определил автобиографическую природу творчества Куприна и, когда тот жаловался ему, что,

кончив «Поединок» смертью Ромашова, лишил себя возможности вывести этого героя снова в «Нищих», — сказал Куприну:

«Бросьте, не нужен вам больше Ромашов. Советую вам приняться за „Нищих“ сейчас же, не откладывая... Вы — писатель, а не нервная дама, работать вы должны, преодолевать все трудности. По руслу автобиографического течения плыть легко, попробуйте-ка поплавать против течения».¹

Однако когда Куприн «плавал против автобиографического течения», он переходил обычно в «течение биографическое», т. е. обрабатывал факты из биографий известных ему лиц, знакомых или исторических. Так возник, например, рассказ «Гранатовый браслет». В письме к Ф. Д. Батюшкову от 15 октября 1910 г. Куприн писал:

«Сейчас я занят тем, что полирую рассказ „Гранатовый браслет“. Это — помнишь — печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова (Д. Н. — теперь губернатор в Вильно)... Лицо у него, застрелившегося (она ему велела даже не пробовать ее видеть), важное, глубокое, озаренное той таинственной мудростью, которую постигают только мертвые».

Подзаголовок рассказа «Обида» — «истинное происшествие»; «Штабс-капитан Рыбников», как указывали современники, «был написан под непосредственным впечатлением от одного армейского офицера, с которым он встречался в ресторане „Капернаум“».² Об этом японском шпионе, действительно разоблаченном проституткой, Куприн упоминал и в лекции «О репортерах и газете»: «О разгроме Цусимы, — сказал тогда Куприн, — репортеры узнали тогда, когда это знали только при дворе, да японский шпион, знаменитый штабс-капитан Рыбни-

¹ М. К. Иорданская-Куприна. Из воспоминаний об А. И. Куприне — Огонек, 1945, № 36, стр. 9.

² Оскар Норвежский. Куприн в «Капернауме». — Вестник литературы, 1908, № 6—7, стр. 127; перепечатано в его же книге «Литературные силуэты» (СПб., 1909, стр. 16). То же повторяет и М. К. Иорданская-Куприна (Огонек, 1945, № 36, стр. 9).

ков».³ В приват-доценте Ярченко («Яма») современники узнали одного киевского профессора.

Другая группа рассказов Куприна — это факты из жизни современных ему или более ранних деятелей русской культуры. Так, рассказ «Тапер» представляет обработку эпизода из жизни композитора А. Н. Корещенко,⁴ а «Гоголь-моголь» вырос из рассказанного Куприну Ф. И. Шаляпиным действительного случая из его биографии. Рассказ «Однорукий комендант» — не что иное, как вариации на темы биографии генерала И. Н. Скобелева.

Произведения Куприна при всей их биографичности являются итогом больших и разнообразных изучений жизни, людей, природы. Лучше всего об этой черте своей литературной физиономии рассказывал он сам. Характеризуя одно из действующих лиц рассказа «Штабс-капитан Рыбников», фельетониста большой петербургской газеты Владимира Ивановича Щавинского, Куприн на самом деле подробно описывает самого себя.

«Щавинский — и по роду его занятия и по склонностям натуры — был собирателем человеческих документов, коллекционером редких и странных проявлений человеческого духа. Нередко в продолжение недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживая его с упорством страстного охотника или добровольного сыщика. Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь „рыцарь из-под темной звезды“ — шулер, известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман — ужас всех редакций, зарвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и игорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть; но бывали также предметами его спортивного увлечения знаменитости сезона — пианисты, певцы, литераторы, чрезмерно счастливые игроки, жокеи, атлеты, входящие в моду кокетки. Добившись во что бы то ни стало знакомства, Щавинский мягко и любовно, с какой-то обволакивающей паучьей манерой овладевал вниманием своей жертвы. Здесь он шел на все: просиживал целыми но-

³ А. Покровский. А. И. Куприн о репортере. — Петроградский голос, 1918. 16 апреля, № 60, стр. 2.

⁴ За это указание приношу благодарность А. А. Гозенпуду.

чами без сна с пошлыми, ограниченными людьми, весь умственный багаж которых составлял — точно у бушменов — десяток-другой зоологических понятий и шаблонных фраз; он поил в ресторанах отъявленных дураков и негодяев, терпеливо выжидая, пока в опьянении они не распустят пышным махровым цветом своего уродства; льстил людям наобум, с ясными глазами, в чудовищных дозах, твердо веря в то, что лезть — ключ ко всем замкам; щедро раздавал займы деньги, зная заранее, что никогда их не получит назад. В оправдание скользкости этого спорта он мог бы сказать, что внутренний психологический интерес значительно превосходил в нем те выгоды, которые он потом приобретал в качестве бытописателя. Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних действий — так сказать, подержать в руках живое, горячее человеческое сердце и ощутить его биение. Часто при этой пытливой работе ему казалось, что он утрачивает совершенно свое „я“, до такой степени он начинал думать и чувствовать душою другого человека, даже говорить его языком и характерными словечками, наконец он даже ловил себя на том, что употребляет чужие жесты и чужие интонации. Но, насытившись человеком, он бросал его. Правда, иногда за минуту увлечения приходилось расплачиваться долго и тяжело» (III, 88—90).

В мемуарной — очень небогатой, к сожалению, — литературе о Куприне сохранились лишь обрывочные сведения о том, как он изучал людей разных общественных положений и профессий. «Припоминаю, — писал В. Ф. Боцяновский, — как однажды в Житомире он предложил мне пойти с ним в пивную. Через некоторое время за нашим столом уже сидело несколько „кабанников“, торговцев свиньями. Все они, как хорошо знакомые, здоровались с Александром Ивановичем и запросто рассказывали о своих делах. — Каков материал! — смеясь сказал он мне, когда мы вышли из портерной».⁵

⁵ В. Ф. Боцяновский. Из литературного наследия А. И. Куприна. Рукопись в ИРЛИ.

В хранящихся в Институте русской литературы воспоминаниях о Куприне Н. Л. Львовой сообщается о том, что его видели однажды на возке угольщика, развозившего в мешках древесный уголь: «Руки и даже шея его были покрыты угольной пылью...». Очевидно, угольщик почему-то заинтересовал Куприна, и он, как Щавинский, «наблюдал» и «выслеживал» новый объект.

Другой формой изучения жизни была у Куприна его обширная переписка. В одном письме из Житомира он жаловался на то, что все его забыли, а раньше на его имя ежедневно приходило по 10—15 писем.

Письма, получавшиеся им от разных читателей и читательниц, Куприн сохранял. Важнейшие из них сортировались, клались в большие конверты, на которых делались надписи классификационного порядка с не особенно строго выдержанными принципами деления: эротоманы, графоманы, приказчики, сумасшедшие, «стрелки», солдаты, мании, горничные, дамская любовь, сплетни, анонимы, корреспонденция из святых мест. Из этих писем Куприн нередко черпал сюжеты или отдельные частности для своих произведений. Таково, например, происхождение рассказов «Наталья Давыдовна», «Путаница» и др.

Другой своеобразной чертой купринской манеры было пользование записными книжками. По сохранившимся в литературе сведениям, у него был целый ящик записных книжек. «Часть из них он даже растерял, кажется, не без помощи добрых друзей»,⁶ жены⁷ и, вероятно, жандармерии (VII, 39). Показывая репортеру свои записные книжки, Куприн вспоминал о незадолго до того опубликованных записных книжках Чехова и прибавил: «Хитрый старик! „Никакой записной книжки писателю не нужно, на то есть память“. Но раз при нем я сказал чье-то колоритное слово. Он засмеялся и говорит: — Это так хорошо, что надо записать, — и вытащил из кармана записную книжку». Можно более точно определить, какой эпизод имел в виду Куприн в только что приведенном отрывке, — в статье «Памяти Чехова» (VII, 127—128) Куприн передает, как однажды сообщил

⁶ Огонек, 1912, № 15.

⁷ Письмо к Ф. Д. Батюшкову от 29 мая 1910 г.

А. П. Чехову случай из своей актерской жизни («Свистеть на сцене?»), кстати, использованный также и им в рассказе «Как я был актером» (IV, 299—300).

Пользуясь бытовым, автобиографическим и историческим материалом, Куприн подвергал его тщательной обработке, художественной шлифовке. Жизненный материал проходил у него процесс широкого обобщения, творческой типизации. Отметая все то, что имело сугубо личный, чересчур интимный характер, но в то же время соблюдая жизненную правдивость и конкретность, Куприн выработал особую манеру типизации — через изображение действий героев, через порою очень подробную психологическую мотивировку этих действий, через внутренние монологи персонажей, а иногда, — впрочем, реже всего, — через словесные характеристики, даваемые другими действующими лицами. «Я избегаю „портретности“, — делился он сведениями о процессе своего творчества с одним интервьюером, — стараюсь подмечать лишь характерные черты и психологию».⁸

Однако свойство Куприна отправляться в своем художественном творчестве от жизненных фактов не спасало его в то же время от упреков критиков — и притом авторитетных, — в «анекдотичности», т. е. в использовании давно известных литературных шаблонов. Так, например, М. Горький в одном письме к К. П. Пятницкому говорил об анекдотичности рассказа «Ученик». Анекдотичны рассказы «Святая любовь», «Куст сирени», «Чары» и пр.

Автобиографичность литературной манеры Куприна проявлялась, помимо обработки фактов собственной жизни, еще в том, что в уста многих героев он вкладывал свои мысли, свои оценки, присваивал им свою манеру говорить. И Бобров («Молох»), и Ромашов, и Назанский («Поединок»), и Платонов («Яма»), и студент Воскресенский («Корь»), и неназванный рассказчик в «Искушении», и Астреин («Мелюзга»), и очень многие другие персонажи его произведений, — как бы ни относился к ним автор, с сочувствием или отвращением, — говорят тем же самым языком, каким и он сам говорит в своих

⁸ С. Мих. В гостях у А. И. Куприна. — Петербургская газета, 1909, 9 июня. № 155.

«философских рассказах» («Вечерний гость», «В трамвае», «Собачье счастье»), высказывают его взгляды, пользуются его фразеологией, употребляют его излюбленные эпитеты, образы.

Это придавало произведениям Куприна некоторое однообразие, за что критика его справедливо корила. Сам Куприн ощущал эту особенность своей манеры и дал ей специальное обозначение — «граммофон», т. е. ненастоящее, искусственное звучание голоса: «Некоторые мои любимые мысли, — признавался он в одном интервью, — в устах героев романа («Нищие») звучат, как граммофон (эта ошибка была сделана мной, например, с Назанским в «Поединке»), и я стремлюсь теперь истребить это».⁹

Однако избавиться от подобной манеры Куприну не удавалось, и он хорошо сознавал это. «Я очень много работаю, — извещал он Батюшкова в период работы над «Ямой». — Сейчас разогреваю десятую главу. Но девятая у меня вышла, так же как и восьмая, вся в рассуждениях. Такова моя участь — не могу избежать граммофона!» (письмо из Житомира от 3 марта 1909 г.).

И хотя Куприн очень хорошо умел проникать в психологию своих героев и очень верно изображал их в действиях, в поступках, в бытовых разговорах, но в рассуждениях — все равно, в рассказах или в пьесах, — он оказывался слабым. Это помешало ему, несмотря на сильное желание и ряд попыток, стать драматургом. Ни «Клоун», ни «На покое» (переработка принадлежала А. И. Свирскому, а Куприн только пересмотрел готовую рукопись), ни написанный во время империалистической войны «Лейтенант фон-Пляшке» не свидетельствуют о драматургических способностях Куприна. В одном интервью он объяснил причины этого: «Мои попытки создать пьесу не удавались мне, главным образом, потому, что герои ее в большинстве говорили моим языком, одинаково, похоже один на другого...».¹⁰

Но «граммофона» у Куприна не так уж много. Он всегда был повествователем по преимуществу. Сю-

⁹ Вас. Регинин. Куприн. Отклики писателя на литературные злобы. — Биржевые ведомости, 1908, 18 июня, № 10558.

¹⁰ Вас. Регинин. У А. И. Куприна. — Петербургская газета, 1908, 24 августа, № 232.

жетная сторона его произведений изумляет своей отточенностью, продуманностью и отсутствием каких-либо неслаженностей, излишеств или неточностей. Объясняется это обстоятельство тем, что Куприн чрезвычайно долго обдумывал, «вынашивал» свои произведения. «Мне (по дурацкому устройству моего аппарата), — признавался Куприн Батюшкову, — необходимо, чтобы рассказ улежался у меня в голове 6—7 лет, а меня торопят точно под хлыстом» (письмо из Житомира от 24 апреля 1909 г.). В самом деле, некоторые произведения, сюжеты которых Куприн сообщал газетным репортерам в 1908—1912 гг., были написаны уже в эмигрантский период либо вовсе не были занесены на бумагу.

Куприн в зрелые годы работал очень медленно. Так, он неоднократно излагал содержание романа «Нищие» или «Нищие духом», но работа двигалась очень туго и, насколько известно, завершена не была. Рассказ «Елань» также писался медленно.

Так же было и с «Ямой», которая писалась с 1909 по 1915 г. В период работы над «Ямой» Куприн в одном интервью заявил: «Возвращаясь к вопросу о критическом отношении к себе, я скажу, что оно с годами возрастает. Было время, когда я, не задумываясь, писал в неделю три рассказа в киевские газеты. Тогда у меня не было такого чутья к словам, такой требовательности, такой боязни всего банального. Теперь взвешиваешь не только каждую страницу, но каждое слово»¹¹. Через год в другом интервью Куприн возвращается к этой теме и жалуется, что у него много времени отнимает работа над рукописями: «За последнее время у меня проявляется чрезмерная придирчивость к каждому слову своему и чуть ли не четыре раза правлю одну и ту же вещь»¹².

Такая длительная, упорная работа над черновиком объясняется тем, что у Куприна в результате постоянной спешки выработалась манера, фактически сводившая на нет ту же самую спешку. Под влиянием работы, «когда стоят над душой», у него появился «тяжелый обычай обновлять, увеличивать, развивать рассказ в кор-

¹¹ Аякс (А. А. Измайлов). У А. И. Куприна. — Биржевые ведомости, 1912, 7 сентября, № 13131.

¹² «Без автора». У А. И. Куприна. — Биржевые ведомости, 1913, 21 сентября, № 13764.

ректуре». «Вообще для меня, — делился писатель с репортером «Огонька» своими наблюдениями над собственной манерой работать, — обычное явление, что не широко задуманная вещь вдруг разрастается сверх всяких ожиданий».¹³

Из писем его к Батюшкову видно, как коротенькое рукописное предисловие к изданию переводов из Редьярда Киплинга в корректуре разрастается в статью, как в корректурах же изменяется объем ряда рассказов и очерков.

Теоретически же он признавал иной ход работы.

В одном из недатированных писем, повидимому после 1910 г., Куприн давал своему адресату советы, явно выросшие из обобщений собственного писательского опыта: «...„Смертник“ опять никак не рассказ, а схема рассказа. Так, обрывая самого себя, втискивая огромный материал в максимум нижнего этажа провинциальной газеты, далеко не уедешь. Надо писать любовно, не стесняя себя размером, не боясь изобилия художественных образов, сравнений, мелких черточек, писать так, чтобы позволить себе в корректуре покосить, убрать лишнее, загромождающее. Особенно это важно вначале, пока писатель не оседлал технику, как послушного коня».¹⁴

В какой мере следовал он этому совету в период зрелости своего таланта, сказать трудно из-за незначительного количества сохранившихся его черновых рукописей.

Применял Куприн и такой прием: он иногда включал в свои художественные произведения ранее написанные очерки (например, очерк «В главной шахте» переделан был в рассказ «В недрах земли», очерк «В казарме» в несколько обработанном виде был введен в повесть «Поединок» в качестве главы XI). С другой стороны, в некоторых случаях Куприн в процессе работы над большим произведением печатал отрывки из него то в форме именно «отрывков» («Меджид»), то в виде очерков (см. выше, в главе третьей, в разделе о «Молохе»).

Чтобы ускорить работу, Куприн в 1912—1916 гг. прибегал к услугам стенографа. Иногда это давало положительный результат, работа шла быстро, некоторые

¹³ Огонек, 1912, № 15.

¹⁴ Центр. Гос. литерат. архив (Москва), ф. № 240, оп. I, ед. хр. 41.

произведения были продиктованы сразу. Но часто Куприна раздражала безграмотность студента-стенографа, в результате которой писателю самому приходилось переписывать расшифрованную стенограмму.

Любопытный эпизод, характеризующий процесс художественного творчества Куприна во время диктовки стенографисту, сообщил В. Ф. Боцяновский:

«Это было в декабре или январе этого <1908> года. Вся Гатчина, где он в это время жил, занесена была снегом, и дом, в котором работал Куприн, тонул в пушистой, кружевной сетке покрытых инеем тонких веточек окружавших его деревьев.

«За стенами была зима, мороз. А внутри дома Куприн в это время плыл по Черному морю, мимо Ялты, мимо Ласточкина гнезда; вокруг него плескалось, бурлило изумрудное море, ярко светило солнце.

«Он диктовал стенографисту. Нас было несколько человек; мы сидели в соседней комнате и, не желая прерывать работы, ждали, когда он сам выйдет к нам.

«Куприн нервно шагал, быстро, горячо диктовал. Наконец, схватил ручку двери, чуть-чуть приоткрыл и с силой, громко захлопнул.

«Мы, сидевшие рядом, приняли этот жест на свой счет. Оказывается, он и не подозревал о нашей близости.

«— Ничего подобного, — удивленно заметил он, когда потом ему поставили вопрос прямо. — Даже не помню.

«Догадался стенографист.

«— А помните, Александр Иванович, — сказал он, — тот момент, когда помощник капитана вошел в каюту Травиной и быстро, порывисто захлопнул за собою дверь? Сцена насилия! Вот вы тогда именно и хлопнули дверь...

«Оказывается, Куприн диктовал рассказ „Морская болезнь“. Характерный для творчества Куприна эпизод. Он так живо переживал волнение, охватившее его героя, что машинально, сам того не замечая, хлопнул дверью своего кабинета»¹⁵.

Известно, что Куприн был страстным охотником, рыболовом, спортсменом. Однако все эти занятия не отвле-

¹⁵ В. Ф. Боцяновский. О Куприне. — Новая Русь, 1908, № 54.

кали его от литературно-творческой работы; напротив, они помогали ему, так как при сидячем образе жизни он, по его словам, «раскисал»: «Я могу работать, т. е. думать, — признавался он Ф. Д. Батюшкову в письме от 7 июня 1908 г. из Ессентуков, где лечил больную ногу, — только на ходу».

«На ходу» следует понимать не только в прямом смысле.

Исключительная подвижность, неутомимость, непоседливость Куприна, его постоянные переезды, переходы в молодости от одной специальности к другой, его жадность к «наблюдениям» и «выслеживаниям» были тоже своего рода «работой на ходу». «Жизнь — только в движении!» — утверждал Куприн устами героя одного из своих произведений.

В записях яснополянского врача Д. П. Маковицкого есть упоминание об отзывах Л. Н. Толстого о Куприне во время семейных чтений «Поединка». Толстой сказал: «Новый писатель пользуется старыми приемами».¹⁶

В самом деле, Куприн не был новатором в литературе. Он очень внимательно и основательно изучал классиков русской литературы, в особенности Пушкина, Толстого, Чехова и Горького и, не ставя перед собой невыполнимых задач, писал, как ему подсказывали его эстетические воззрения. Отправляясь от классиков, Куприн все же умел оставаться самим собой, оригинальным и талантливым, интересным и умным, хотя и не всегда правильно рассуждающим.

Эстетические принципы Куприна немногочисленны и сжаты. «В искусстве — главное простота, а ее достигнуть очень трудно», — говорил Куприн в своей лекции «Судьбы русской литературы» в 1916 г.¹⁷

Этого принципа Куприн в основном придерживался на всем протяжении своей литературной деятельности. Сюжеты его произведений, за редкими исключениями, очень несложны, лишены запутанности, композиционно стройны и логичны. Хотя у него встречаются «необыкновенные»,

¹⁶ Голос минувшего, 1923, № 3, стр. 15.

¹⁷ Баку, 1916, 14 октября, № 226, стр. 3.

на первый взгляд, случаи — «Лунной ночью», «Психея», «Безумие», «Странный случай», «Ужас», «Нарцисс», — но все это наименее удачные его произведения, большей частью ранние, лишь перепечатававшиеся позднее.

В большинстве же его рассказы просты, жизненны и удивительно правдивы. Таковы, например, «По-семейному», «Мирное житие», «По заказу» «Чары», «Славянская душа» и др.

В той же лекции «Судьбы русской литературы» Куприн сформулировал еще один принцип, которого в основном придерживался: «В искусстве надо знать, что ты пишешь, для чего пишешь и о чем пишешь». Модные идеи «искусства для искусства», пропагандировавшиеся символистами и модернистами и другими реакционными писателями конца XIX—начала XX в., были ему по существу чужды. Написание неудачных произведений вроде «Морской болезни», «Ученика» и др. явилось следствием нарушения его собственного эстетического принципа: знать то, о чем пишешь. Так, не зная жизни и психологии революционного пролетариата России, Куприн никогда не писал о нем. Не писал он и о русских революционерах, как действовавших в России, так и находившихся в эмиграции. Но то, что он знал, он описывал так, что жизнь, им изображенная, живет и до сих пор на страницах его рассказов и повестей. Стоит прочитать лучшие его произведения — «Штабс-капитан Рыбников», «Река жизни», «По-семейному», «Мирное житие», «Анафема», «Листригоны», «Канталупы», «Потерянное сердце», — и станет видно, что ряд сторон русской дореволюционной жизни он изобразил как великий художник-историк.

Куприн знал и то, для чего он писал. Его очень испортила буржуазная «слава» в эпоху реакции, он грубо ошибался в своих политических и литературных отношениях, но никогда в дореволюционное время не переходил на службу царскому правительству, как, например, сделал это Л. Андреев, редактировавший «Русскую волю». Куприн считал себя писателем честным и свою литературную работу не напрасной.¹⁸ Честность он видел

¹⁸ Биржевые ведомости (веч. вып.), 1915, 17 января, № 14617, стр. 2.

в том, что писал то, что думал и что было ему близко и дорого. Если ему и приходилось для заработка писать много, в разные места, спешно, торопливо, доделывая в корректурах, то идейно он считал себя свободным от требований буржуазной публики эпохи реакции. Однако это было не всегда так, и такие чуткие аналитики русской жизни после 1905 г., как В. Г. Короленко и М. Горький, это ясно понимали: «Вопросы пола носят в воздухе... даже у такого истинного художника, как Куприн, физиология выпячивается до порнографии»,¹⁹ — писал Короленко в 1916 г. Отзывы Горького о Куприне как «публичном писателе» приведены были выше. И все же — при всех своих ошибках и противоречиях — Куприн в этот период писал то, что думал.

Следовал Куприн и тому принципу, который был сформулирован: «надо знать, что пишешь». Не будучи новатором, как уже сказано выше, он в то же время не шел по проторенной дорожке литературных штампов, шаблонов и трафаретов. Они ему претили, и он часто высмеивал их:

«Как это пишут смешно в романах: „В зале воцарилась мертвая тишина. Полковник закурил свою трубку, провел рукой по длинным седым усам и, глядя на огонь камина, начал...“ Так ведь? Ха-ха-ха...» (VIII, 272).

«Для того, чтобы взволновать и умилить читателя, надо самому над чем-нибудь взволноваться и умилиться. Нужно пролить ту самую слезу, которую в дамских повестях проливают, сваливая ее на слишком крепкий табак, старые полковники по окончании чувствительного рассказа. „В комнате воцарилась гробовая тишина. Старый полковник окончил рассказ и почему-то слишком долго выколачивал о решетку камина свою трубку, отвернувшись от слушателей. Наконец он выпрямился и отирая глаза, сказал, дрожащим голосом: „Чорт побери! Какой однако у вас крепкий табак, ротмистр!“ — „А что же случилось с несчастной Заирой?“ — решила спросить после долгого молчания дама с палевой розой в волосах. — „Она умерла!“ — глухо ответил старый полковник“.

¹⁹ В. Г. Короленко. Письма, т. III, стр. 243.

«„Чорт! Какая чепуха лезет в голову!“ — бранится вслух Арефьев и сердито толкает ногой подвернувшийся стул» (VIII, 283—284).

Последний пример приведен из рассказа «По заказу», который построен на осмеении литературных штампов, с одной стороны, и противопоставлении им жизненных, правдивых и истинно трогательных сюжетов. Той же теме посвящена и таким же образом построена «Травка», где осмеивается шаблон «пасхального рассказа». Но за якобы забавной ситуацией «Травки», когда редактор ходкой газеты и его сотрудник — беллетрист бесплодно придумывают сюжет пасхального рассказа и начинают вспоминать милое, далекое, чистое детство, — кроется большая, хотя как будто и простая мысль:

«—Надо писать серьезно... говорит он <редактор>. — Конечно, я не обладаю даром, как ты, и нантием... Но, если бы я писал, я написал бы просто...» (VIII, 310).

В одном письме Куприн писал автору, приславшему ему свои рукописи на отзыв:

«...Осмелюсь указать Вам на однообразие некрасивых приемов, которыми вы злоупотребляете: „Гидра беспошадности“ („Моя любовь“) ... „Смертность от истощения“ ... (там же) ... „Картина ранения“ ... (там же) ... „Ужасный по силе развития заразы...“ (там же) ... „Кривизна утилизации“ („Дальние зори“) ... и т. д. Надо проще. В одном месте я заметил у Вас даже три существительных рядом в разных падежах. Это мутит».²⁰

«Серьезность», «простота» — вот, на первый взгляд нехитрые и несложные эстетические принципы Куприна.

Конечно, самое осмеивание шаблона таит в себе опасность превратиться в шаблон, но у Куприна этого не было. Одной борьбой с трафаретами и штампами он не ограничивался. У него не выработался свой собственный шаблон, и почти каждое его произведение, особенно зрелого периода, представляло какое-то новое решение проблемы художественной формы в зависимости от содержания. И эта постоянная новизна (не «новаторство» в плохом смысле слова, а остающееся в пределах хорошей традиции), новизна, связанная с прекрасным зна-

²⁰ Центр. Гос. литерат. архив (Москва), ф. № 240, оп. 1, ед. хр. 41.

нием изображаемого материала и с простым, серьезным и человечным содержанием, привлекала и продолжает привлекать читателей Куприна.

Насколько внимательно относился Куприн к вопросам художественного мастерства, видно из его работы над заглавиями своих произведений. Из его писем и бесед с газетными репортерами известно, что он очень часто менял заглавия своих рассказов и повестей, менял их при повторном издании («Ясь» становится «Славянской душой», рассказ «Барышня» или «Кэт» переименовывается в «Прапорщика армейского», «Нарцисс» сперва назывался «Виктория» и т. д.). Враги Куприна объясняли это якобы его желанием повторно печатать старые произведения. Это неверно.

Чтобы правильно понять заглавия Куприна, следует остановиться на сценке из рассказа «Травка». Беллетрист передает разговор, происходивший между ним и редактором:

«— Давай тему!

«— Тему? Но это для тебя пустяки!..

«— Давай хоть заглавие!.. Помоги же, чорт тебя побери!..

«— Ну, заглавие — это пустяк!.. Например: „Она вернулась“.

«— К чорту!..

«— „Яйцо сосватало“.

«— К чорту!..

«— „Весенние иллюзии“.

«— К чорту!..

«— „Скворцы прилетели“.

«— Мимо!..

«— „Когда раскрываются почки“...

«— К чорту!.. Мой милый, разве сам не видишь, что все это — опаскуженные темы. И потом: что это за безвкусице делать заглавие рассказа из существительного и глагола? „О чем пела ласточка“... „Когда мы, мертвые, проснемся“... А в особенности для ходкой газеты. Дай мне простое и выразительное заглавие из одного существительного!..

«— Из существительного!..

«— Да, из существительного.

«— Например... „Чернильница“?!

«— Стара штука! Использовал Пушкин: „К моей чернильнице“.

«— Ну, хорошо. „Лампа“.

«— Друг мой, — говорю я кротко: — только очень близорукие люди выбирают для примеров и сравнений предметы, стоящие возле них!..

«Это задевает его за живое, и он сыплет, как из мешка:

«— „Будка“, „Кипарис“, „Пале-Рояль“, „Ландыш“, „Чорт в ступе“. Не нравится? Ну, наконец, „Травка“?

«— Ага, „Травка“?.. Стоп!.. Это уже нечто весеннее и на Пасху хорошо. Давай-ка подумаем серьезно о травке!..» (VIII, 308—309).

Если после этого отрывка обратиться к заглавиям Куприна, то станет очевидно, что сам он строго следовал требованиям, которые выдвигал беллетрист из «Травки»: у него нет ни одного заглавия типа «О чем пела ласточка» Шпильгагена или «Когда мы, мертвые, проснемся» Ибсена. Только заглавия сатирических рассказов «Как я был актером» и «О том, как профессор Леопарди ставил мне голос» и воспоминаний «О том, как я видел Толстого на пароходе „Св. Николай“» отчасти подходят к подобным заглавиям из существительного и глагола, но лишь по форме: раскрывая конкретное содержание рассказов, они лишены того сентиментального или мистического характера, как заглавия Шпильгагена и Ибсена.

Обычно заглавия Куприна состоят из одного существительного («Мясо», «Слон», «Путаница», «Одиночество», «Локон»), которое определяет или главный предмет рассказа, или главное содержание его. Встречаются иногда заглавия по имени главного действующего лица: «Леночка», «Аль-Исса», «Изумруд», «Марианна», «Суламифь». Значительно чаще встречаются у Куприна заглавия из существительного с определением, опять-таки либо непосредственно раскрывающие идею произведения (иногда аллегорическую, например «Собачье счастье»), либо выделяющие существеннейший момент в содержании рассказа («Страшная минута», «Святая ложь», «Славянская душа»), либо характеризующие время или место действия («Лунной ночью», «Белые ночи», «Лесная глушь» и т. д.), либо, наконец, говорящие о главном действующем лице («Белый пудель», «Прапорщик армей-

ский» и др.). В одном письме Куприн с неодобрением отмечал: ... «Ваши заглавия все эффектны».²¹

У Куприна нет трафарета в зачине рассказа. В этом отношении он многому научился у русских классиков, в особенности у Тургенева, Чехова и Горького. Иногда это изучение приводило даже к бессознательному следованию за определенным классическим образцом. Так, например, начало рассказа «Зачарованный глухарь», несомненно навеяно началом одного из очерков из «Записок охотника» Тургенева («Льгов»).

О борьбе Куприна с шаблонными зачинами рассказов со «старыми полковниками» говорилось выше. Однако сам Куприн не избегал «повествовательной» манеры зачина («Убийца», «Начальница тяги», «Искушение» и многие другие), но и в этих случаях он умел оставаться нешаблонным. Впрочем, и в данной области, как и в ряде других, Куприн рос как мастер, и его более поздние произведения отличаются большим совершенством, чем ранние, написанные до «Поединка».

Особенно заметен рост Куприна как художника в области характеристики персонажей. В течение первого десятилетия своей литературной деятельности он довольно безразлично относился к этому вопросу, и в его произведениях на первых же страницах встречалось большое нагромождение подобных характеристик. Примерно с 1903 г. положение в этом отношении у него резко меняется. Можно с полной определенностью указать, чем было это вызвано.

В октябре 1902 г. Куприн послал А. П. Чехову оттиск своего недавно напечатанного рассказа «На покое» и просил дать отзыв о нем. В ответ Чехов отправил Куприну письмо, в котором, извещая о получении оттиска, писал: «Повесть хорошая, прочел я ее в один раз, как и „В цирке“, и получил истинное удовольствие. Вы хотите, — продолжает Чехов, — чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее некоторыми. Например, героев своих, актеров, Вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми, писав-

²¹ Центр. Гос. литерат. архив (Москва), оп. 1, ф. № 240, ед. хр. 41.

шими о них; ничего нового. Во-вторых, в первой главе Вы заняты описанием наружностей — опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно Вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных. Вот и все, что я могу сказать Вам в ответ на Ваш вопрос о недостатках, больше же ничего придумать не могу».²²

Нет сомнения, что указания и советы столь уважаемого Куприным писателя, как Чехов, произвели на него впечатление. В последующих его рассказах биографии и внешние характеристики действующих лиц не нагромождаются в начале произведения и вводятся в текст со значительным разнообразием. Это заметно сказалось на первых же рассказах Куприна 1903—1904 гг. Напечатанный в № 1 «Журнала для всех» за 1903 г. «Трус» еще не вполне свободен от этой «старой» манеры, но уже в очерке «В казарме», который позднее в переработанном виде был включен в повесть «Поединок» и в рассказах «Конокрады», «Мирное житие» и др. Куприн избавляется от шаблона, который у него нередко встречался.

Большая работа проделана была Куприным в области словесного пейзажа. И здесь он многому научился у классиков — Тургенева, Чехова, Горького. При всем этом его пейзажи, в особенности зрелого периода, все же «купринские», написанные в одному ему присущей манере; их отличает краткость, четкость рисунка, сочетающаяся с мягкостью красок, лиричностью, какой-то мелодической звукописью...

Приведем два-три примера.

Вот описание петербургской белой ночи в «Штабс-капитане Рыбникове»:

«Было не светло и не темно. Стояла теплая, белая, прозрачная ночь с ее нежными переливчатыми красками, с перламутровой водой в тихих каналах, четко отражавших серый камень набережной и неподвижную зелень деревьев, с бледным, точно утомленным бессонницей не-

²² А. П. Чехов. Полное собрание сочинений, т. 19. ГИХЛ, М., стр. 368—369.

бом и со спящими облаками на небе, длинными, тонкими, пушистыми, как клочья растрепанной ваты» (III, 101).

Вот сравнение весны на севере с весною на юге:

«Вы помните, конечно, очаровательную весну у нас на севере, с ее тихими, томными, медленно гаснущими зорями, с несказанными ароматами трав и цветов, с соловьиными трелями, с отражениями звезд в спящей воде спокойной реки, между камышами... со всеми ее чудесами и поэзией? Здесь на юге нет совсем весны. Вчера еще деревья были бледносерыми от покрывающих их почек, а ночью прошумел теплый, купный дождь, и, глядишь, наутро все блестит и трепещет свежей зеленью, и сразу наступило южное лето, знойное душное, назойливое, пыльное...» (VII, 50).

Если всмотреться в приведенные примеры, нельзя не заметить, что в каждом из них помимо описательной, зрительной и звуковой части, как бы дополняющей зрительную, есть еще часть сравнительная, нередко придающая эмоциональность, чувственную ощутимость пейзажу: «небо, точно утомленное бессонницей», «спящая вода спокойной реки», «лето назойливое». Снова приходится вспоминать слова М. Горького о том, что в очерках Куприн не является фотографом, а добавляет много «от себя». Это с полным правом можно отнести и к пейзажам Куприна.

В цитированном выше отрывке из рассказа «Травка», где шел спор между беллетристом и редактором по поводу заглавия, Куприн мимоходом обронил одно интересное признание относительно сравнений: «Только очень близорукие люди выбирают для примеров и сравнений предметы, стоящие возле них!..» (VIII, 308). Поэтому естественно возникает вопрос о сравнениях у самого Куприна.

Сравнения у Куприна — речь, конечно, идет о периоде зрелости его таланта, — представляют результат серьезной и обдуманной работы, которую можно определить его же словом «выбор». Характерной их особенностью является неожиданность сопоставления и отдаленность сравниваемых вещей; например, нервы героя уподобляются «разбитому фортепиано» (VIII, 319); персонаж рассказа возвращается домой «усталый, весь разломанный, точно коночная лошадь» (VIII, 325); «волосы стали

дыбом, как стеклянные трубки» (VI, 271). Иными словами, это — сравнения, которые писатель «выбирает» из ряда возможных, а не они приходят, как говорится, сами собой. Выбор сравнений у Куприна обдуманый, сознательный, подчиняющийся определенному принципу — принципу, так сказать, «неожиданности».

Иногда в сравнениях Куприна встречаются сопоставления, как бы обратные тому, чего ожидает читатель: «Время исчезло. Стены кабинета ушли в далекую мглу, растаяли, и Арефьев живет пестрой, изменчивой, фантастической жизнью, почти такой же яркой, как и сама действительность» (VIII, 286). — «Регент.. делает ему страшные глаза и отрывисто, точно прокалывая кого-то шпагою, — вытягивает в его сторону руку с камертоном» (VIII, 287).

Некоторые сравнения Куприну так понравились, что встречаются у него не один раз. Например, в повести «Кадеты (На переломе)» рассказывается о воспитателе, прозванном Петухом. «Это был очень чистенький, добродушный немец. От него всегда пахло немного табаком, немного одеколоном и еще тем особенным, не неприятным запахом, который издают мебель и вещи в зажиточных немецких семействах» (IV, 33). Ср. в «Поединке»: «Пришлось ждать в полутемной передней, где пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах» (II, 86).

Столь же обдуманый и сознательный характер, как сравнения, имеют у Куприна и определения (эпитеты). У него встречаются, кроме обычных определений, состоящих из одного прилагательного (или причастия), определения из двух, иногда из трех и даже больше прилагательных. Особый интерес представляют «сложные» эпитеты. В них, как и в сравнениях, заметна рука опытного художника, заботливо отбирающего все, что делает образ более понятным и зрительно или иным способом воспринимаемым. Вот несколько наудачу взятых примеров: «Глубокая, могучая и радостная синева моря» (VI, 241); «жидкая, веселая, ранняя зелень» (VI, 127); «весенний беспорядок — шумный, торопливый, сорный — воцарился в лесах» (III, 180); «темная, мягкая и сладостная пелена забвения» (III, 112); «ма-

ленькие, горячие, жесткие руки... пухлые, белые, дрожащие пальцы... глупые, красивые, сияющие глаза» (VIII, 350); «бесчисленно, весело и беспорядочно светлели лица» (IV, 16).

Почти в каждом из приведенных примеров можно обнаружить соблюдение определенного принципа: хотя все прилагательные характеризуют слово (предмет, качество), к которому относятся, дополняя друг друга, первые два как бы развивают какую-то одну сторону его, а третьи, не противореча предшествующим, вносят нечто новое, порой даже неожиданное, добавляют какую-то непредусмотренную сторону определяемого.

Куприн обращал большое внимание на язык своих произведений и на вопросы языка и литературы вообще. Давая характеристики писателей — русских и иностранных, — он почти всегда останавливался на оценке их языка. Однако это не кропотливый анализ филолога, который устанавливает особенности языкового употребления того или иного писателя, определяет наличие в нем архаизмов, провинциализмов, неологизмов, диалектных выражений, нарушений грамматических правил или, напротив, видит в нем строгое соответствие с литературными нормами.

Замечания Куприна о языке писателей в большинстве случаев имеют образный характер. «Язык Толстого напоминает постройку, возводимую великанами; чтобы о ней судить, нужно глядеть на нее издали. Язык Чехова — нежное и тонкое плетение, которое можно рассматривать и в лупу» (VII, 81). О языке К. Гамсуна Куприн, забывая, что перед ним перевод, писал: «Язык его неподражаем — этот небрежный, интимный, с грубоватым юмором, непринужденный и несколько растрепанный разговорный язык, которым он как будто бы рассказывает свои повести, один-на-один, самому близкому человеку, и за которым так и чувствуется живой жест, презрительный блеск глаз и нежная улыбка» (VII, 79—80). Об А. Н. Будищеве, которого любил и с которым дружил, Куприн писал, что «все его сочинения написаны таким простым и спокойным, истинным и красивым языком».²³

²³ А. И. Куприн. Об А. Н. Будищеве. — Собрание сочинений, «Московское книгоиздательство», т. IX, М., 1917, стр. 145.

Язык самого Куприна, которым он по праву гордился и который так ценил Горький, во многом может быть характеризован, как это ни покажется спорным, теми же словами, какими он говорил о языке Чехова, Гамсуна и Будищева. Язык Куприна не сложился сразу, с самого начала. Первое время, как отмечали советские исследователи, ему казалось нужным и правильным следовать шаблонам романов 70—80-х годов прошлого века. Это тот язык, которым заставлял Куприн думать о себе Ромашова, героя «Поединка».

Затем последовала полоса усвоения языка интеллигенции 90-х годов, отличавшегося обилием иностранных слов, взятых из газетных и журнальных статей. Способствовала этому репортерская работа Куприна с середины 90-х годов; она дала ему очень много в отношении усвоения литературной техники, но не приучила к соблюдению чистоты языка. Иностранными словами пестрят в этот период не только газетные статьи и фельетоны Куприна, но и его художественные произведения. Особенно заметен этот недостаток в журнальном тексте «Молоха», позднее переработанном автором. Достаточно привести два примера:

**«Русское богатство»
(1896)**

«Доктор Скобеев с одинаково богатой эрудицией и с неизменной горячностью оппонировал ему» (кн. XII, 117—118).

«Он любил искренно этого беспечного, кроткого толстяка за его энциклопедический ум, юношескую живость характера и добродушную страсть к дебатам²⁴ отвлеченного свойства» (кн. XII, стр. 117).

**Полное собрание
сочинений (1912)**

«Доктор Гольдберг возражал ему с одинаковым интересом к делу и с неизменной горячностью» (I, 27).

«Он любил искренно этого беспечного, кроткого еврея за его разносторонний ум, ютошескую живость характера и добродушную страсть к спорам отвлеченного свойства» (I, 27).

Внимательное изучение Куприным Пушкина и других классиков русской литературы во второй половине 90-х годов сразу заметно отразилось на языке его произведений: почти исчезли слова «интеллигентского жаргона»,

²⁴ В некоторых экземплярах двенадцатой книжки «Русского богатства» вместо «дебатам» напечатано «спорам».

при построении фразы Куприн проявляет заботу о ее музыкальном звучании, становится разнообразнее и строже выбор эпитетов, точнее сравнения, короче предложения.

Характерно, что у Куприна с этого времени и на всем дальнейшем протяжении его творчества явно обозначается склонность к коротким, даже сжатым и тем не менее полновесным и полнокровным фразам. У него нет и телеграфного, нервного, словно задышающегося стиля, одно время модного у писателей десятилетия между двумя революциями. И он не только сам пользовался короткими предложениями, но и советовал своим друзьям писать таким образом. «Старайся лишь быть во фразе покороче», — наставлял он Ф. Д. Батюшкова в письме от 5 августа 1908 г. О таких же советах Куприна рассказывает нам В. Ф. Боцяновский.

И в 90-е годы и даже в начале 1900-х Куприн еще не сумел полностью освободиться от некоторых «южно-русизмов», приставших к его речи коренного москвича. Он довольно часто употреблял мало литературное слово «замурзанный» (II, 73; II, 273), вместо «уверенность в своих силах» говорил «уверенность в свои силы» (V, 146), вместо «в поисках работы», — «в поисках за работой» (VII, 77), вместо «в будни», — «в буднее время» (IV, 40) и др.

Однако Куприн, как уже указывалось выше, много учился языку и у классиков, и у современных ему писателей, и больше всего непосредственно из жизни. К. И. Чуковский уже давно отметил интерес Куприна к живому разговорному языку: «Он чует и любит бытовые наслоения на русском языке, жаргоны, областные слова, наречия».²⁵ И в самом деле, у Куприна был на редкость чуткий «языковой» слух: рисует ли он одесситку в «Белой акации», он приводит ряд слов и выражений из ее «ужасного одесского жаргона» (VII, 53); вводит ли нас в мир русских летчиков, он заботливо — и, кажется, первый из русских писателей — собирает все специальные словечки и выражения этой новой тогда профессии

²⁵ К. И. Чуковский. От Чехова до наших дней. Изд. 2-е. СПб., 1908, стр. 79.

(«Люди-птицы»). Жаргон военной школы, казармы, актеров, конокрадов, воров, проституток, контрабандистов, шулеров, охотников и т. д. — все это было ему хорошо знакомо, все это в очень осторожных дозах, без излишеств, свидетельствующих об отсутствии литературного вкуса, он вправлял в «разговорные» части рассказов и повестей, чем придавал им жизненность, конкретность, правдивость.

Иногда, — впрочем, очень редко, этот жаргон проникал и в повествовательную, «авторскую», а не только «разговорную» часть его произведений. Так, в рассказах из военного быта у Куприна встречаются слова и выражения из офицерского жаргона. Вместо литературной формы «кобура» в «Ночлеге» употреблена форма «кобур» («шарф с кобуром» — II, 327) и т. д.

Но, как отметил Горький в письме к К. А. Треневу, после «Поединка» язык Куприна как-то сразу, резко заметно изменился, возмужал, стал ясен и классически правилен. Это распространяется даже на такие безидейные произведения, как «Ученик», на такие сентиментальные рассказы, как «Прапорщик армейский», на такие стилизации, как «Суламифь» и апокрифы («Сад Пречистой Девы», «Пегие лошади» и др.).

При изучении рукописей Куприна становится ясным метод его работы над языком своих произведений. В тех случаях, когда он вносил исправления в текст какого-либо произведения, он стремился устранить не удовлетворявшие его первоначальные «разговорные» или книжно-шаблонные формы предложений, отдельных оборотов и слов. Создается впечатление, что сначала Куприн писал произведение как бы начерно, так, чтобы только — как можно скорее — закрепить идейно-образную сторону своего замысла, не вдаваясь в подробности отделки и шлифовки языковой оболочки. Затем шаг за шагом он удалял маловыразительные, стершиеся от частого, «бытового» или «чересчур литературного» употребления слова и обороты и заменял их новыми, более точными, более определенными и образными словами, эпитетами, выражениями. В итоге такой тщательной правки, продолжавшейся и в корректурах, язык произведений Куприна приобретал свой подлинный характер, свое настоящее звучание.

Стремление быть в наибольшей степени верным духу русского языка, следовать гуманистическим традициям русской литературы вызвало у Куприна, в особенности в период зрелости его таланта, недовольство своими произведениями. В одном из интервью 1912 г., касаясь выходившего тогда «ниевского» издания своих сочинений, Куприн сказал:

«Три четверти из того, что там напечатано, надо было бы вычеркнуть».²⁶ Несколько позднее он писал: «Про себя... я всегда говорил и думал, что моя работа — второй сорт».²⁷

Любознь советского читателя к произведениям Куприна, неоднократные издания лучших его сочинений опровергают столь скромную самооценку: Куприн несомненно принадлежит к числу крупнейших русских писателей, и его «работа» никак не может быть признана «вторым сортом».

И Толстой, и Чехов, и Горький, и широкие читательские круги признавали большой талант Куприна. Но помимо таланта Куприн обладал подлинным секретом мастерства; секрет этот состоял в честном отношении к своему писательскому делу, в борьбе за содержательность литературы, в неприятии художественных шаблонов и штампов, в серьезном внимании к «мелочам» литературной техники.

К своим литературным сверстникам и младшим товарищам Куприн относился очень внимательно, дружески и доброжелательно. В его письмах почти не встречается резких отзывов о чьих-либо произведениях, нет иронических словечек и насмешек.

Склонный к пародированию и шутке, Куприн не вкладывал в свои пародии злости и обидного чувства превосходства. Его пародии на Бунина, Скитальца, Рославлева, Бальмонта (о пародии на Горького сказано было выше — она имеет особый смысл), его затерянная на страницах старой газеты пародия на шаблонный французский роман²⁸ — скорее забавны, чем язвительны.

²⁶ Биржевые ведомости, 1912, 7 сентября, № 13131.

²⁷ Чтение мыслей. — Журнал журналов, 1916, № 20.

²⁸ А. Куприн. Любовь Армана и Генриэтты (роман). — Свободные мысли, 1908, 15 апреля, № 49. Эпиграф: «Посвящается почти

Злили Куприна, доводили его до резкостей те писатели, особенно газетные журналисты, которые писали небрежно, неряшливо, которые портили русский литературный язык. Отсюда проистекало его — иногда несправедливое и пристрастное — отношение к литературным противникам, которых он подозревал в некорректном и нечистоплотном отношении к писательскому делу, в порче языка. К чести Куприна, большая часть таких резких суждений об отдельных писателях и целых группах писателей не выходила за пределы самой интимной переписки.

К литературной критике Куприн относился в общем неприязненно, настороженно. Его раздражала шаблонность и школьность современных ему критиков. «Критики... любят ставить баллы, — жаловался Куприн в одном интервью, — и распределять места, кто какой ученик? Для писателей это бесполезно, и для публики не нужно».²⁹

Вместе с тем Куприн понимал значение серьезной и содержательной критики и ценил ее: «Когда встречаешь критика тонкого, нежного, осторожного, — нечего скрывать — радуешься и в душе благодаришь его».³⁰ В другом случае он заявил, что очень ценит Чуковского: «В нем есть злость и страстность и видно, что он много читает».³¹

И недовольство современной критикой, и негодование на писателей, портящих литературный язык, и возмущение тем, что литература утратила свой идейный характер и стала выгодным источником заработка, — все это являлось следствием огромной любви Куприна к русской литературе, к русскому языку, к русской культуре. В одном из писем к Батюшкову, находясь в особенно раздраженном состоянии, Куприн писал: «А ведь я знаю, что, несмотря на мою прочную репутацию б...ного кавалера, пьяницы, сифилитика, кровосмесителя, убийцы собственных детей, содержанца, и т. д., ты все-таки веришь, что к русской литературе я отношусь не хуже, чем поп к таинству св. Евхаристии» (письмо от 24 апреля 1909 г.).

всем французским *maître'am* и *belles lettres'истам* (кроме Флобера, Вольтера, Октава Мирбо и Сирано де-Бержерак)».

²⁹ Биржевые ведомости, 1908, 15 июня, № 10554.

³⁰ Биржевые ведомости (веч. вып.), 1915, 17 января, № 14617.

³¹ Биржевые ведомости, 1908, 15 июня, № 10554.

Куприн внимательно следил за современной литературой. Модернистов-декадентов он не любил. «Наши поэты (модернисты), по-моему, притворщики, фокусники и просто шарлатаны», — откровенно заявил Куприн в одном интервью.³² В рассказе «Мой паспорт» он вспоминал, как «покатился со смеху... Это было недавно..., когда в моем присутствии один поэт-символист — человек несомненного, даже исключительного таланта — вдруг зачитал что-то о кладбище и мертвецах на мотив „чижика“: я знал, что мой смех неучтив, но не мог усилием воли победить его» (VII, 37—38). В лекции «Портреты и характеристики», прочитанной в Ессентуках в 1908 г., Куприн об Андрее Белом сказал, что у него много «баловства», что «это — самый непонятный и сомнительный из современной молодежи».³³ Неодобрительно отозвался тогда же Куприн о Ф. Соллогубе.

Как тонко понимал Куприн особенности развития русского символизма, видно из его отзывов о В. Брюсове. Сказав о шарлатанстве модернистов, Куприн прибавил: «Интересна здесь эволюция Брюсова... Начал он с шарлатанских стихов, но стоило ему только приобрести ими известность, — Брюсов стал писать строгие, вытесанные из мрамора стихи, без всего баловства...».³⁴

К футуристам Куприн отнесся более дружелюбно, чем к декадентам.

«Современные футуристы со временем протрезвятся и... вернутся на тот правильный путь... который проложен был Пушкиным. Футуристы — это веселые, задорные мальчишки, но они еще подрастут и одумаются».³⁵ О том же говорил Куприн и на лекции в Киеве в 1914 г. и в Тбилиси и Баку в 1916 г.

Сопоставляя литературу после революции 1905 г. с классической, он видел отрицательные стороны первой: «Все, что пишут теперь, — говорил Куприн на лекции в Киеве в 1914 г., — не похоже на то, что писали раньше... Все... старые писатели, писатели-реалисты,

³² В. Регинин. Куприн. Отклики писателя на литературные злобы. — Биржевые ведомости, 1908, 14 июня, № 10552.

³³ Речь, 1908, 3 августа, № 184, стр. 4.

³⁴ Биржевые ведомости, 1908, 14 июня, № 10552.

³⁵ «Без автора». Беседа с А. И. Куприным. — Петербургская газета, 1914, 23 января, № 22.

бытовики, знали секрет, как надо трогать и волновать читателя, и от одного к другому переходило это заветное слово. Современные писатели делают не то и не так, как нужно». Впрочем, Куприн выделял из современной упадочной литературы одну группу писателей, о которой говорил с большой теплотой и уважением: это — «художники, приобщенные к идеалам всей русской литературы, писатели, в произведениях которых скрыта глубокая и печальная мысль. К ним относятся Горький, Короленко, Бунин, Серафимович, Скиталец, К. Тренев и др.».

Напротив, с неприязнью характеризовал Куприн другую группу современных писателей: «Кроме этих художников <Горький, Короленко и др.>, преданных быту и старым реалистическим традициям, есть еще... группа писателей, которые пишут, не задумываясь над тем, для чего они пишут. Из их лагеря вышли нелепые девизы: искусство для искусства, смерть быту и проч. Это значит, что... им совершенно неизвестно то внутреннее сияние, то „во имя“, которым светилась вся русская литература, начиная с Пушкина».³⁶

В 1915 г. в интервью по поводу итогов своего юбилея Куприн с радостью отмечал появление талантливой литературной молодежи: «Теперь на смену нам идет молодежь. Сколько талантливых, интересных людей! Пишут хорошо, прекрасным языком, тонко, остроумно, изящно, находят нужные слова; это — большое утешение для меня, стареющего русского писателя».³⁷

Куприн, несмотря на отдельные ошибки, например в оценке «тенденциозности» М. Горького, в целом верно понимал основные процессы, протекавшие в русской литературе предреволюционного времени. Его сочувствие реалистической линии литературного развития, его враждебность «нелепым девизам: искусство для искусства, смерть быту и проч.», самый перечень имен писателей, которых он считал наследниками «идеалов всей русской литературы», — все это свидетельствует, что Горький был прав, стремясь вернуть Куприна на путь истинно демократической литературы.

³⁶ Л. В<ой то л о в с к и й>. Лекция А. И. Куприна. — Киевская мысль, 1914, 10 марта, № 69.

³⁷ Биржевые ведомости (веч. вып.), 1915, 17 января, № 14617, стр. 2.

На декадентское засилие в литературе Куприн смотрел как на явление временное:

«Я не сомневаюсь, — говорил он в интервью в начале 1908 г., — что настоящий „промежуток“ в нашей литературе не долго будет длиться и русский язык найдет людей, достойных писать на нем... Скоро они сметут его нынешних губителей, и снова явятся писатели, о которых станет говорить мир...

«Мы еще доживем до этого дня».³⁸

Вместе с тем Куприн не переоценивал значение тех положительных элементов в современной литературе, о которых говорил в своих лекциях и беседах с газетными репортерами. Он рассматривал их лишь как залог будущего полного расцвета русской литературы.

«Состояние нашей литературы в настоящий момент, — высказывал Куприн свое понимание путей развития русской литературы, — представляет навоз, но так я называю не в плохом смысле слова, а в смысле хорошего навоза, которым удобряют землю для новых всходов. Наша литература предвещает великое будущее, чисто славянское, северное... Наши писатели искренни».

Отвергая космополитическое низкопоклонство перед Западом, очень модное в то время, он заявлял:

«Русская литература не есть отражение западной литературы. Она самостоятельна и так велика, что даже влияет на западную».³⁹

Куприн глубоко, искренне и страстно любил русскую литературу.

Он любил говорить о судьбах русского художественного слова: «Я верю в великое будущее русской литературы... — сообщал он в одном интервью. — Ни реакция, ни декаденты, ни символисты новой формации, ни городовые — никто не может загубить ее, помешать ее цвету».⁴⁰

Литературное наследие Куприна весьма значительно и по объему и по содержанию. Прекрасный наблюдатель и знаток жизни русской провинции 1890-х и 1900-х годов, расширивший позднее круг своих изучений, Куприн дал

³⁸ Вас. Регинин. Встречи А. И. Куприн. — Биржевые ведомости, 1908, 22 января, № 10313.

³⁹ Новая Русь, 1908, № 87.

⁴⁰ Биржевые ведомости, 1908, 22 января, № 10313.

огромную галерею типов, лиц и групп. Но наблюдения его шли больше вширь, чем вглубь. При всем своем исключительном знании жизненного материала Куприн не был одарен, подобно М. Горькому, способностью вдумчивого анализа глубоких, подспудных процессов русской жизни: он больше давал читателю материал для размышления, чем помогал ему размышлять, разобраться в предлагаемом материале. Писатель-художник, Куприн не был и, к счастью, сравнительно редко старался быть философом. Его сила в простоте, правдивости, изящной лиричности, лукавом юморе, в жизненности. А. И. Куприн на многие годы сохранит значение как писатель, способствовавший росту критического реализма, бодрости и жизнеутверждающего начала в годы реакции, как писатель, развивавший гуманные, прогрессивные традиции великой русской литературы, как один из выдающихся мастеров великого русского слова.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

	Между стр.
Рис. 1. А. И. Куприн 1893 г.	16—17
Рис. 2. А. И. Куприн 1908 г.	88—89
Рис. 3. А. И. Куприн в 1912 г. (портрет работы художника Н. И. Верхотурова)	. 120—121
Рис. 4. А. И. Куприн 1913 г.	. 136—137
Рис. 5. А. И. Куприн в 1938 г. .	. 160—161

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
От автора	3
Глава первая. Детство. — Школьные годы. — Первые литературные опыты. — Полковая служба	5
Глава вторая. Годы скитальчества. — Киев	16
Глава третья. Рассказы 1894—1900 гг. — Повесть «Молох»	24
Глава четвертая. В Петербурге. — «Журнал для всех». — «Мир божий». — Сближение с Горьким	35
Глава пятая. «Поединок»	38
Глава шестая. «События в Севастополе»	67
Глава седьмая. Литературная деятельность Куприна после «Поединка» и «Событий в Севастополе». — Отход от Горького	78
Глава восьмая. Новые скитания. — Отношения Горького и Куприна в 1908—1916 гг.	92
Глава девятая. Рассказы 1900—1916 гг. — «Яма»	112
Глава десятая. Куприн в 1917—1919 гг.	139
Глава одиннадцатая. В эмиграции	150
Глава двенадцатая. Снова на родине	157
Глава тринадцатая. Литературное мастерство Куприна	163

*Печатается по постановлению
Редколлегии научно-популярной литературы
Академии Наук СССР*

*

Редактор Издательства В. А. Браиловский
Технический редактор Р. С. Певзнер
Корректор Т. М. Юдина

*

РИСО АН СССР № 58—118В. М-37084.
Подписано к печати 10/X 1956 г. Бу-
мага $84 \times 108\frac{1}{32}$. Бум. л. $3\frac{1}{16}$. Печ.
л. 10.04. Уч.-изд. л. 9.71 + 5 вкл. (0.22 уч.-
изд. л.). Зак. № 663. Тираж 17000.
Цена 3 р. 15 к.

1-я тип. Издательства АН СССР.
Ленинград, В. О., 9 лин., д. 12.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Должно быть</i>
20	6 сверху	внушило	внушили
21	17 »	в том же 1900 г.	в 1901 г.
45	6 снизу	в «Молохе»	в «Молохе», где
68	4 »	У одного	«У одного
82	4 »	с писателем.	с писателем).

П. Н. Берков. Александр Иванович Куприн.

